



КЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В СТАРОМ ДОМЕ

КЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В СТАРОМ ДОМЕ



П О В Е С Т Ъ

*Свердловское книжное издательство
1960*

ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Второе издание,
дополненное и доработанное.

Художник В. Васильев



ПРОВОДЫ

Г аля пришла из магазина в полдень. Дома, к её удивлению, оказались мать и даже отец.

Отец разбирал вещи в своём чемодане, мать шила мешок из брезентового чехла.

— Хлеб выкупила?— спросила мать и, не дожидаясь ответа, склонилась опять над шитьём.

— Вы почему так рано?— Галя оглянула вещи, которые отец выкладывал из чемодана.

— Раздевайся, детка. Да поищи-ка мне иголку потолще и ниток чёрных,— сказал отец громким оживлённым голосом.

— А ты, папа, куда? В командировку?

— Далеко, детка.

— А в котором часу?

— Очень скоро. Ты сегодня уж не ходи в школу.

— Тебе бы надо что-нибудь потеплее на ноги: носки шерстяные,— сказала мать, не поднимая глаз от шитья.

— Нет, только портянки. Я ведь там в сапогах буду.

— Да, да, ты ведь там в сапогах будешь,— повторила мать. Она направилась было в спальню, но на полпути остановилась.— За чем же я пошла?

Отец смотрел на неё и тоже как будто припоминал, что же она забыла.

Мать вспомнила, наконец. Ножницы — вот что ей нужно, и они оба стали искать их, но не могли найти. Между тем ножницы висели на своём обычном месте — на гвоздике, у окна.

Ни перед одной командировкой отца мать не была такой забывчивой. Она и говорила сегодня не так, как всегда, а ровным, ужасно ровным голосом и, сказав одно слово, вдруг замолкала, точно набиралась сил для следующего слова.

Отец же, наоборот, был необычно оживлён, но по временам тоже задумывался, а когда обращался к матери, то в голосе его звучало что-то осторожное и озабоченное.

— Тебе на первое время хватит,— сказал он, выйдя в сени, где стояла поленица дров.— На растопку бери вот с этого боку, а тех подбрасывай уж потом, когда разгорится огонь. Как установится дорога, позвони в трест управляющему, он обещал подкинуть кубометра два.

Со двора в открытые двери тянуло холодной сыростью. На каменной дорожке, обросшей травой, блестели лужицы.

— А эти как?— Возле крыльца разваленной грудой лежали бревна.

— Эти?— переспросил отец и хотел что-то сказать, но мать поспешно наклонила голову и скрылась за дверью.

— Папа, что с мамой?

Отец стоял спиной к Гале.

— Папа, что с мамой?— повторила она уже встревоженно.

— Я еду на фронт,— сказал отец и одним взмахом посадил Галю, как маленькую, себе на плечи.

Бережно поддерживая её, он стал ходить взад и вперёд по комнате. Было удобно сидеть на его широких твёрдых плечах

и обеими руками держаться за его чёрноволосяую голову. Галя была под самым потолком. Мухи летали ниже её.

— Ты будешь ходить в шинели?

— В шинели.

— И пилотку будешь носить?

— И пилотку.

— И в сапогах?

— И в сапогах.

Он повторял её слова, совсем не вдумываясь, машинально, как маленький Эдик Назаров.

— И звёздочки на пилотке будут?

— Будут.

— И орден на пилотке?— спросила Галя уже нарочно.

— И орден.

Галя тихонько рассмеялась.

Скоро отец спустил её на диван. Он ещё не уложил вещи в мешок. Разворошённая груда лежала на столе, на полу. Он стал проверять по списку: это есть, это есть.

— А кружка?

Кружки совсем не значилось в списке. Галя была очень довольна, что напонила отцу о такой необходимой в дороге вещи.

В дверях показалась Даша Орешкина, соседка по квартире. Она жила за тонкой переборкой, в узкой комнатке на одно окно.

— Папа на войну идёт!

— Да что ты? И когда отправляетесь, Виктор Николаевич? В девять часов? Костя Назаров тоже едет сегодня. Ну, бейте там их, проклятых! Говорят, они город Донбасс уже взяли?

Виктор Николаевич не поправил Дашу Орешкину. Он подошёл к большой географической карте, висевшей на стене, и стал называть места, где происходили бои.

— Значит, Гитлера расшибём?— спросила она.

— Обязательно! Наши неудачи временные. Всё кончится хорошо...

Галя не спускала глаз с отца. Он был лучше всех на свете — умнее и красивее. А сегодня он даже шагал как-то по-особенному — твёрдо и решительно, с размахом.

— Вы без меня живите мирно, — сказал он, с тёплым вниманием взглянув на Орешкину.

— Мы и так живём тихо. Кто про нас худое может сказать?

— Тут, Дарья Осиповна, я брёвна не успел распилить, вы уж пособи́те Наталье Ивановне.

— Распилим, об чём разговор.

Мать накрыла на стол. Галя забралась на колени отца и ела суп из его тарелки. Сегодня ей всё позволялось.

После ужина отец выложил из бумажника хлебные и продуктовые карточки и начал было объяснять, где и что прикреплять на следующий месяц, но мать сказала:

— Я потом разберусь,— и отодвинула их в сторону.

Вечерний час прошёл в молчании. Было слышно, как мелкий дождь побрызгивал в окна, словно бились в стёкла сотни беспризорных мошек.

Круглолицый будильник равнодушно посматривал со стола. Ему было всё равно, куда отправляется отец Гали. Он знал лишь одно дело: отстукивать секунды. Вот и сейчас он спокойно подтолкнул к двенадцати часам длинную стрелку, а короткую поставил на восемь. И зашагал дальше чётким уверенным шагом, как солдат.

— Ну, мне пора.

Отец поднялся с места. Вздвогнув, мать протянула к нему руки.

Простившись, отец стал пристраивать мешок за спину. Мать помогала ему.

— Эх, не успел рамы вставить,— с сожалением сказал он, взглянув на окна.

— Ты бы надел галоши. Промочишь ноги.

— Если электричество испортится, позови дежурного монтера из моего отдела. Я ему говорил.

— Но ты хоть там переодень носки, если не берёшь галоши.

Перед самым выходом мать сказала, чтобы Галя оставалась дома: на улице дождь и темень.

У Гали брызнули слёзы. Она была одета раньше их — в пальто и галошах.

— Пусть проводит до угла,— отец наклонился к Гале и шепнул: — Помогай маме!

Галя первая выбежала на крыльцо.

В полумраке двора поблёскивала каменная дорожка. Тревожно неслись тучи над высокой полукруглой башней напротив. Сеял незримый дождь.

У калитки отец оглянулся. Старый дом маячил уже отдалённым, сумрачным пятном. Двор, заросший травой, тонул в темноте ранней осени.

На улице было светлее. Бросая жидкие пучки света, проносились машины.

— Иди, детка, домой. Мама скоро придёт.

Отец поцеловал Галю и, отойдя шагов пять, обернулся, подняв руку в прощальном приветии.

И вот Галя уже одна. Исподлобья глядят на неё чёрные окна домов. Торопливо пробегают мимо люди, роняя на ходу обрывки фраз. Холодные капли воды падают с акаций на её плечи.

С мостовой неожиданно донёсся мерный тяжёлый топот. Из тьмы выступила колонна красноармейцев. Мерно колышутся штыки; не прерываясь, мерно качаются боевые каски. Скрывается одна колонна, и вслед за ней выплывает другая. Лица красноармейцев почти неразличимы. Винтовки и каски — им нет конца.

У Гали кружится голова от их движения. Чудится, что и она в одном строю с ними, так же отбивает шаг, несёт винтовку. Какая-то волна подхватывает её. В груди становится тесно. Горячая, как огонь, влага внезапно обжигает глаза.

Поток бойцов прервался. Освещённый трамвай с грохотом подлетел к остановке. В отдалении замер топот.

Спотыкаясь о камни, Галя идёт домой.

Во дворе тихо и темно. Тополя, прижавшись к окнам, молчат. Им холодно и, может быть, страшно. Время от времени, качнув верхушками, они издают предостерегающий шелест и настороженно слушают: кто здесь, свой или чужой?

Прислонившись к двери, Галя стоит на мокром коврике и беспомощно комкает платок.

Никто не видит, как она плачет.

ПО-НОВОМУ

День начинался, как и прежде. В восемь часов мать будила Галю и уходила на работу. Спустя немного, бесшумно, подобно тени, удалялась Даша Орешкина с большим тощим портфелем под мышкой. Галя оставалась одна в квартире. До половины второго она учила уроки, потом, наскоро перевязав шнурком туго набитый, незакрывающийся портфель, мчалась в школу. В сумерки возвращалась домой.

Ещё совсем недавно, едва она распахивала дверь, раздавался радостный возглас отца: «А вот и Галя!» — и мать бросалась в кухню разогревать обед.

Теперь в этот час её встречала холодная тишина. В полутьме нащупывала Галя спички, чтобы засветить лампу с дымной горелкой. Вяло ела суп и картошку, сваренные накануне,

и, усевшись на диван с ногами, замирала, пугливо глядя на запотевшее окно, в которое бился мохнатый чёрный тополь.

Томительны одинокие вечера взрослому человеку, вдвойне томительно их молчаливое бездействие ребёнка.

Как-то вечером пришла Федосья Степановна, только что назначенная комендантом пяти домиков в их дворе.

После недолгого разговора о военном житье, она сказала:

— Уж всяко местечко забито, а вот преподнесли опять восемь душ. Ума не приложу, куда их пристрою. Сама к себе двоих поставила. А велики ли мои хоромы?! Придётся к вам двух человек вселить. Вот, девка-матушка, какое моё положение. Верчусь, как собака, день-деньской, и от всякого получаю неудовольствие.

— Нам бы одного довольно, — сказала Наталья Ивановна, подумав.

— Я вхожу в ваше положение. И всё, что в моём произволении будет, постараюсь. Но я человек совсем маленький, дела решают большие люди. Как будто по нашему хотению не выйдет. Туча-тучей народ. С ребяťешками вот такими тащатся! Горько, что сердце не вмещает.

Федосья Степановна пообещала устроить всё по-хорошему. На крайний случай поставить двух смиренных мужчин, которые не будут, подобно женщинам, топтаться весь день на кухне.

Галя пришла в шумный восторг. Наконец-то у них будет всё по-другому. Зеркальный шкаф встанет в дальний угол, стол уйдёт в спальню, и всё сгрудится в один край. А главное, будет жить с ними какие-то новые, совсем незнакомые люди.

На другой день Галя с раннего утра поджидала гостей. Накануне мать дала ей наказ, как принять жильцов в её отсутствие. Несколько раз Галя выбегала в сени, спрашивала перед закрытой дверью: «Кто?»

Наконец, стук прозвучал совершенно отчетливо, и Галя опрометью кинулась ему навстречу.

Да, это были они: Федосья Степановна, а за её спиной двое мужчин — старый и молодой.

— Примайте гостей со всех волостей, — тонким певучим голосом сказала Федосья Степановна.

— Проходите, пожалуйста, — Галя откинула парусиновую штору в дверях, чтобы открыть им путь, и, поставив возле каждого стул, отошла в сторонку.

Старик вежливо поблагодарил её и сел, поправляя висевшие на боку противогаз и термос. Его длинное драповое пальто с бархатным воротником было забрызгано грязью и разор-

вано в нескольких местах. Худошавое, давно небритое лицо носило следы глубокой усталости.

Молодой же человек, напротив, казался бодрым. С живым любопытством осматривался он вокруг. Обведя комнату беглым взглядом, спросил, где они могут располагаться. Потом сказал:

— Наше житье здесь временное. До весны, не дольше.

— Надеюсь, останетесь довольны,— сказала Федосья Степановна.— Главное дело — хозяйка очень тихая. По теперешнему времени, я считаю, аккуратный да уважительный человек — дороже всего для дома. Соседка — тоже нельзя похаять. Вы из каких мест будете? Верно, с Украины.

— Нет, мы из Смоленской области.

— А на каких занятиях состоите?

Молодой человек сказал. Он работал в Смоленске архитектором-строителем, а старик, отец его,— мастером по часовому делу в городе Рославле.

— А семья, верно, дома осталась?— продолжала любопытствовать Федосья Степановна.

— Да.

Молодому человеку явно не нравились её расспросы. Но от Федосьи Степановны было трудно отделаться.

В конце концов, он сообщил, что в Рославле остались его мать и сестра с маленькой дочкой. Они тоже хотели эвакуироваться, но в день отъезда девочка тяжело заболела. Пришлось уехать одним.

— Ай-я-яй!— сочувственно протянула Федосья Степановна.— Как повернулось неладно. Кабы их там не взяли на заметку. Уж, шибко, говорят, Гитлер над мирным народом изезжается. Даже вчуже страшно.

Старик беспокойно заворочался на стуле.

— Что об этом сейчас голковать,— сказал молодой человек, слегка нахмурясь.

Когда Федосья Степановна ушла, он скинул с себя кожаное пальто и стал втаскивать в комнату чемоданы и мешки. Старик несколько раз вопросительно взглядывал на него. Он словно спрашивал, что же им теперь делать, раз хозяйки нет дома?

Галя застенчиво кашлянула.

— У вас кроватей нет?

— Кроватей?

Они улыбнулись оба. Уже окрепшим голосом Галя сказала, что у них есть две кровати, одну можно уступить им.

— А как же вы?— спросил молодой человек.— Вдвоём на одной кровати неудобно.

— Что вы! Когда я была маленькая, мы спали с мамой валиетком, было удобно и даже лучше, чем отдельно.

— А ты вопрос согласовала с мамой?

— Все согласовала до капельки. Мы можем и тюфяки вам дать, если у вас их нет.

— Что ты, деточка,— сказал старик.— Какие у нас тюфяки!

— Ничего, ничего, отец,— поспешно прервал его сын.— Понемногу всё образуется. Робинзон Крузо всё потерял, да не падал духом. Остался у него один лишь нож...

— И жестянка с табаком,— подсказала Галя.

— Точно. А у нас, смотри, сколько добра. Даже патефон с пластинками.

Галя просияла при виде двух аккуратных чемоданчиков, обтянутых голубым дермантином. Ради патефона можно пустить на квартиру кого угодно.

— Счастливый дом,— сказал молодой человек, увидев вдавленную возле порога железную подкову.

— У нас и русская печка есть, и плита есть,— похвасталась Галя.

— А дровяника разве нет?— спросил он, выйдя в сени, доверху набитые дровами.

— Был и дровяник и даже амбар был, но управдомша сказала: бомба упадёт — пожар! И велела сломать. Вот что осталось.

У забора громоздилась куча рухляди.

— Зря сломали: ложная паника. Разве сюда кто залетит! Тебя как зовут? Галя? Чудесно. Будем знакомы. Меня зовут дядей Сашей. Александр Родионов,— прибавил он и шутливо раскланялся.

Расспросив, где и как она учится, он сказал:

— Я учился неважно, но сейчас я бы отвечал только на «отлично». Война!

Гале понравилось, что Саша, не утруждая отца, сам застелил кровать, сам перетряхнул все вещи и уложил каждую на своё место — неторопливо и любовно.

— Приляг отдохни,— сказал он отцу.— Да скинь противогаз.

Он отнёс его сапоги к порогу, и, когда отец лёг на кровать, заботливо поправил изголовье.

— А это кто? — спросил он, заметив кота Мыра, начавшего тереться о его сапог.— У, какой зелёноглазый красавец!

Этой похвалой Саша окончательно покори́л Га́лю. Подойдя к окну, он долго почему-то приглядывался к обширному пустырю заднего двора, где особняком друг от друга стояло четыре домишка. Сейчас на пустыре не было никого. Среди бурьяна бродила лишь чёрная коза Дины Мухтаровой, да у рыжей помойки прыгали воробьи. На задах хорошо бывало только летом, когда всё зарастало травой, и у домика Кати Колосовой начинали шуметь листво́й две тонкие берёзки.

— Как тихо! Будто войны и нет совсем,— сказал Саша, отрываясь от окна.— Какая сегодня сводка?

Галя порозовела от неожиданного вопроса. Неуверенной рукой она показала на карте Чернигов и Кременчуг. Ей ужасно было досадно, что ничего больше она не может сообщить.

— Да,— задумчиво проговорил Саша.

Найдя какую-то точку внизу карты, он медленно перевёл взгляд на Урал, словно измеряя пестрое полотнище, которое занимало чуть не всю стену, до самого потолка.

— Ехали мы с тобой, отец, целую вечность, а всё ещё не край земли. Машина какая!

— Да, это им не Франция,— отозвался старик.

На часах уже было половина второго. Пора отправляться в школу.

— Вы оставайтесь, пожалуйста. И знаете что...— взгляд Гали задержался на диване, который придвинут был к стене.— Поставьте его вот так, поперёк. У вас будет своя комната.

— Головка у неё работает неплохо,— одобрительно заметил старик.

— Великолепно!— с мальчишеской убеждённо́стью подтвердил Саша, и принялся передвигать диван.

«Очень хорошие люди,— думала Галя по дороге в школу.— Маме, наверное, они понравятся».

Когда Галя вернулась домой, жильцы сидели за столом, и мать угощала их чаем.

— А вот и главная хозяйка,— приветствовал её Саша.

По лицу матери Галя догадалась, что Радионовы пришли ей по душе.

ГАЛЯ РЕШИЛА

На гвоздике в кухне висел список всех дел. Галя составляла его накануне. Так было удобно: не надо припоминать, что ещё не сделано, и очень интересно проверить потом, выполнил всё или нет? Если выдержал план, то становишься как бы выше и сильнее. Победитель!

Такой распорядок Галя завела вскоре после отъезда отца. Мать всё позже и позже возвращалась с работы, и ей просто невозможно было справляться со всеми делами. Прежде всю «домашность» вела бабушка — мать отца. Но перед самой войной она уехала к своей дочери, чтобы нянчить её ребёнка. Пока был дома отец, хозяйство не так затрудняло мать: он коллот дрова, топил печь, иногда приносил воду с колонки. Сейчас всё разом свалилось на одни плечи матери, и в первое время она даже немного растерялась.

Как-то ночью загромыхала железная кровля на крыше, и в ливень выступили на потолке, медленно расползаясь и зеленая с краёв, влажные пятна. Потом в кухне через все щели чугунной плиты хлынул дым. Потом, ни с того, ни с сего, отвалилась проржавевшая петля, на которой держалась наружная дверь. В общем, старый дом, оставшись без хозяйского присмотра, то и дело подавал предостерегающие сигналы. Он хотел, чтобы и о нём тоже заботились.

Всё труднее и труднее становилось с питанием. Пайка не хватало до конца месяца. Мать открывала кухонный шкаф и, пошелев пустыми кулками, уходила. Конечно, продукты можно достать на рынке или в деревне в обмен на вещи. Но вещей у них всегда было мало. Вот скоро зима. Надо бы отдать в подшивку валенки. Но чем платить? Придётся опять обращаться к деду Алёшке Приткина. Этот худой жилистый старик, зиму и лето носивший бурый тулуп, умел делать всё на свете: и вставлять стёкла, и чистить трубу, и подшивать валенки. Но когда предстояло идти к нему, мать всегда хмурилась, и Галя догадывалась почему. Приткин, едва глянув на работу, обязательно скажет, лукаво прищурившись: «А чем вы меня соблазните?» Он требовал только хорошие вещи или много денег. Он был очень жадный. Галя сама видела, как у него тряслись руки от жадности, когда он, придя к ним на дом со своим деревянным сантиметром, вымерял льняное полотно, которое отдала ему мать за ремонт плиты.

Мать заметно осунулась после отъезда отца, её всё время что-нибудь беспокоило. И Гале очень хотелось помочь ей как-то. Она была горда, когда мать вручила ей хлебные карточки, а потом, немного погодя, доверила и продуктовые. Галя в них быстро разобралась. Возня с талончиками её даже увлекала.

Теперь любое дело ей казалось простым и легким. Выкупить хлеб — это пятнадцать минут, не больше. Она знала, какая из продавщиц проворнее вырезает талоны, где быстрее

пройдёт очередь. Бренча судками, Галя спешила в столовую, соображая по дороге, что лучше взять сегодня, пшённую или гречневую кашу, и сколько ещё талончиков у неё в запасе. На рассвете, стараясь никого не разбудить, она украдкой убегала с вёдрами на колонку и потом с самым невинным видом спрашивала мать или Дашу Орешкину: «А кто это принёс воды? Я не знаю».

Продрогнув в лёгком пальтишке, она говорила себе: «Нemцы пусть мёрзнут, а мы не должны»,— и от этих мыслей ей становилось теплее. В день большого выкупа продуктов, когда мать могла прийти ей на подмогу лишь после работы, Галя, побледневшая от голода и томительного ожидания, упорно выстаивала очередь до конца и дорогой, отнимая у матери кошелёк, уверяла: «Мои руки хотят нести тяжёлое».

Но иногда мать срывала её намерения: норовила сама вымыть пол или сама выкупить продукты. Тогда Галя пускалась на хитрость. Она брала лыжи и говорила, что идёт кататься, а сама убегала в магазин и потом смеялась, видя изумление матери.

Как бы ни было тяжело, Галя и виду не показывала, что устала. Нарочно в тот момент запевала что-нибудь весёлое. Когда же хотелось есть, а хлеба оставалось всего один кусочек, говорила самым убедительным тоном, что «сыта-пресыта и даже переполнилась». «Папе ещё труднее, чем нам, а он не жалуется, и я должна быть, как он»,— думала она.

Отец слал письма часто, но такие всегда коротышки, что их можно было проглотить за одну минутку.

«Спал в щели. Вот была ночь. До самого утра на меня прыгали лягушки. Только выбросишь их наверх, они опять скачут»,— писал он Гале осенью. Как-то мать вложила в письмо прядку Галиных волос. Когда отец разрывал конверт, волосы выпали, и его товарищи, заметив, стали подшучивать: какая-то девушка прислала на память. Отец сказал: «Это же видно, что детские волосёнки, вон какие мягкие». Тогда все запросили: «Дай хоть немного понюхать, как они пахнут эти ребячьи волосёнки».

Вот в таком роде были письма с фронта. О боях, походах отец сообщал очень мало. Когда в ноябре его ранили в ногу, он написал об этом лишь после того, как полежал в госпитале и опять вернулся на фронт. Галя решила, что так и ей надо поступать: зря не расстраивать мать, держаться стойко всегда-всегда.

Как-то во время мытья пола она всадила в руку под ноготь

длинную грязную занозу. Схватившись за кончик занозы, она неловко дернула её и сломала. Мать всполошилась. Дорогой, торопясь в поликлинику, она то и дело спрашивала:

— Больно?

Галя вскидывала короткие тёмные бровки.

— Немножко.

На самом деле палец её болел нестерпимо, она едва удерживалась от стога.

Врач, осмотрев, сказал, что ноготь придётся разрезать. Он долго копался в ранке, пытаясь подцепить занозу. Мелкие капли пота, как роса, усеяли нос и щеки Гали. Ей хотелось кричать во весь голос, но, видя, что мать не сводит с неё глаз, она, преодолевая боль, улыбнулась и потом, уже на обратном пути, улыбалась тоже хотя палец ещё болел невыносимо.

Трудности военного быта Галя приняла как неизбежность. «Папы нет, мама на работе, значит, я должна хозяйничать. Мне нужно протопить печь, мне — выкупить хлеб и продукты, мне — вымыть пол. Уроки? Выучу и уроки, уж постараюсь. На фронте в миллион раз тяжелее, а разве папа жалуется, он ещё шутит, нас подбадривает. А мама? Придёт с работы безмерно утомлённая и, вместо того, чтобы отдохнуть, начнет готовить обед, стирать, штопать до полуночи. Как же ей не помочь!»

Так рассуждала не одна Галя, а пожалуй, все наши ребята в те годы.

В АРХИВЕ

Мать Гали работала в областном архиве. Туда она поступила сразу же, как окончила университет. Быть учительницей не захотела. Не раз говорила она до войны, что нет ничего увлекательнее, как разбирать старинные документы и по ним строить догадки о том, как жилось раньше. По вечерам мать писала книгу о далёких веках, когда только-только начали строить заводы. Рукопись выходила очень толстой. Она была почти готова. Оставалось ещё что-то проверить.

Теперь мать не сидела над своей рукописью. Перелистнёт её, подумает и, нахмурившись, отложит обратно на этажерку.

— Не нравится?— спросила её как-то Галя.

Мать промолчала. Однажды перед уходом в архив она сказала:

— Стыдное положение. Все что-то делают, а мы перебираем прошлое. Нехорошо!

Мать сказала эти слова, конечно, не для Гали. Она просто

подумала вслух. Ясно, матери разонравилась архивная работа. Непонятно только, почему она выбрала такую специальность. То ли дело быть учительницей: спрашивай кого хочешь и отметку ставь тоже какую хочешь.

Работа в архиве всегда представлялась Гале ужасно скучной. Не раз бывая там, она видела, как мать, склонившись над какими-то «старовременными», толстыми, как кожа, листами, разбирает в лупу каждое слово, букву за буквой. К концу дня у неё краснели белки глаз, лицо тускнело, руки становились тёмными от пыли.

Читальная комнатка часто пустовала по утрам. Изредка выйдет оттуда старичок и, моргая веками, шёпотом спросит что-то или сунет листочек с выпиской дел.

Тогда мать, натянув рабочий халат, спускалась вниз, в хранилище,— большое полуподвальное помещение с решётками на окнах. Медленно идя вдоль полок, забитых до потолка папками, мать вглядывалась в цифры и буквы, написанные на корешках. Иногда ставила лесенку, чтобы добраться до верху.

В архиве вообще бывало немного посетителей, а летом он совсем обезлюдел. Но с осени вдруг разом хлынула масса разных людей: учёные из Москвы, Ленинграда, Киева. В архиве стало шумно и беспокойно.

Около матери теперь непрестанно толпились люди. К ней обращались за всевозможными справками. «Минуточку, я сейчас выясню»,— отвечала она и брала телефонную трубку. То она запрашивала, куда ушёл эшелон с работниками такого-то института, то убеждала прикрепить кого-то к столовой или приютить, хотя бы ненадолго, только что приехавшего историка или краеведа. Мать была председателем месткома, ей обо всех приходилось заботиться.

Но не только поэтому обращались к ней приезжие. Они видели, что она готова отозваться на любую их нужду. Когда ей что-нибудь рассказывали, она как-то вся разом сосредоточивалась и начинала слушать с таким глубоким вниманием, что человеку хотелось говорить и говорить. В такие моменты Галя, забыв, куда и зачем ей надо идти, подсаживалась к матери сбоку и затихала, прижавшись к её руке.

Однажды в архив пришла высокая седая женщина, вся в чёрном. Ещё никогда в жизни Галя не видела такой важной и такой красивой старухи. Короткие, но пышные белые волосы и большие, яркие, почти жгучие глаза. Женщина зашла в архив просто так — узнать, что есть в хранилище. Было замет-

но, что ей сильно нездоровилось. Она то и дело кашляла, прижимая руку к груди. Мать Гали спросила её, где и как она устроилась с жильём. Женщина заговорила. У неё был густой, приятный голос.

— Девять человек вот в такой комнатухе. Жить можно, но работать нельзя. Не знаю, как с машинкой. Подумают — «шпиён». Бабка на машинке. А без неё не могу. Хозяева спрашивают: «Курите?» — Нет. — «Клопов не разведёте?» — Сама не люблю. — «Какого вероисповедания?» — Вероисповедания самого православного. В общем, анкету заполнила, экзамен выдержала. Стали меня называть бабкой. Угловая бабка! «Мы пойдем, — говорит хозяйка, — а ты покарауль дом. Да не забудь — в шесть спустить собаку». — Хорошо, говорю, будет исполнено. Мы, ленинградцы, народ организованный.

Женщина коротко улыбнулась. Из дальнейшего разговора Галя поняла, что город ей очень не понравился: дома глухие, везде злые собаки, народ угрюмый, молчаливый. «Где же это такие дома и такие люди?» — подумала Галя. Но немного погодя эта же женщина — как странно! — сказала с восхищением: — У вас на днях была сильнейшая магнитная буря. Да, да, вы разве не видели? Северное сияние: столбы, ленты. Удивительно живописно!

А когда внимательно проглядела все реестры архива, удивлённо проговорила:

— О, какое у вас, оказывается, богатейшее хранилище! Жаль, что я не знала раньше.

И она же потом вся так и всколыхнулась, услышав, что в городе есть геологический музей, где собраны все камни Урала. Ей захотелось сейчас же, сию минуту двинуться туда.

После ухода женщины Галя спросила, кто это. Оказалось, это была писательница, которая напечатала несколько исторических романов, очень хороших и очень интересных. Ужасно досадно было Гале, что не успела она как следует её рассмотреть. Увидеть настоящего живого писателя! Живого! — да это же событие. До сего времени Гале думалось, что художественные книги написаны людьми, которых уже нет на свете. Пушкин, Лермонтов, Гоголь...

Ещё одну женщину заприметила Галя среди приезжих. Молодая голубоглазая украинка — историк какого-то Киевского института. В тот день, когда войска оставили Киев, она, как ребёнок, разрыдалась прямо у стола матери.

— Неужели мост был взорван, и люди не успели уйти? — всхлипывая, говорила она простуженным голосом. — Мост у



нас узенький-узенький. Единственный путь, единственный выход... Страшно подумать — в нашей квартире ходят *они*, глядят наши картины, берут мои книги...

Она вытерла рукой слёзы и смущённо улыбнулась:

— Не смотрите на меня, Наталья Ивановна. Я держалась, пока могла, а сегодня — не в силах. Мы жили так хорошо, что я иногда суеверно говорила мужу: «С нами, наверное, что-то случится. Счастливее, чем мы с тобой, уже нельзя быть». Мы уезжали, муж ещё оставался там. Где он сейчас, что с ним, я не знаю... — медленно, с болью в лице, она покачала головой. — Киев взят — это так страшно, будто схватили моих детей или мою маму... Вы бывали в Киеве? Ах, какой это город! Есть три красивейших города: Киев, Ленинград и Львов. Приезжайте, обязательно побывайте в Киеве, — голубые глаза её затуманились. — Украина ридна! Вернёмся к тебе — всё, всё восстановим, всё отстроим...

Уходя, она порывисто наклонилась к Наталье Ивановне и шёпотом, горячо выдохнула ей на ухо:

— Как работать хочется, если бы вы знали!

Архив часто посещал пожилой учёный — профессор из Ленинграда. Во время бомбардировки у него погибла вся семья. Он был угрюм, молчалив. Взяв какую-нибудь папку, усаживался в сторонку и рассеянно перебирал бумаги. Когда его что-то начинало занимать, он беспокойно хватался за карманы пальто в поисках папирос или махорки и, ничего не найдя, приходил в невероятное расстройство. Иногда он закуривал нюхательный табак, и тогда по всему архиву распространялся нестерпимый запах камфары и жжёной кости.

Мать Гали принесла ему однажды мешочек мелко изрубленного тёмно-зелёного самосада и коробку спичек. Как он обрадовался, как разом просветлело его всегда сумрачное лицо с крупными резкими складками на щеках!

В архиве было холодно. Сотрудники кутались в шали или накидывали на плечи шубы. Спускаясь в хранилище, говорили сквозь посиневшие губы: «Бр-р, как не хочется искать!»

Пальцы у всех были распухшие и красные, как морковки. Иногда техничка затапливала печь, и все, сгрудившись, вытгивали руки к огню. Потом из рано закрытой печи шёл тяжёлый угарный воздух.

Профессор из Ленинграда ни на что не обращал внимания. Он сидел глухой ко всему, застегнув доверху своё дра-

повое пальто и низко надвинув шляпу. Галю он не замечал совсем, точно она была невидимка.

Однажды он сказал матери:

— Я к вам с предложением. Мне поручили сформировать для печати сборник исторических материалов на тему: «Урал в 1812 году». Материалов, как я убедился, у вас порядочно. Но все они распылены, рассеяны по разным папкам. Не согласитесь ли вы помогать мне в поисках и обработке документов?

Гале очень хотелось, чтобы мать сказала: «Нет, мне некогда, у меня своя работа». Но мать, наоборот, необыкновенно оживилась; как хорошо, что будет такой сборник! Всё, что надо, она сделает.

И с этого именно дня мать все дольше и дольше начала засиживаться в архиве и так была поглощена сборником, что порой забывала, пообедала она или нет. Галя думала: «Хоть бы скорей развязалась мама с историей двенадцатого года». Но ещё не была завершена эта работа, как мать взялась за другую, тоже срочную.

На этот раз работу предложил не учёный, а инженер-строитель. Был он в шинели и серой папаше. Ему требовались материалы одной экспедиции, которая двадцать лет назад изучала подземные воды и недра Северного Урала.

— Говорят, все их изыскания хранятся у вас? — спросил он, и очень обрадовался, когда мать Гали сказала, что, да, они здесь в хранилище, поступили вместе с делами районного архива в самом начале войны, но пока не разобраны.

— Вы, могли бы достать их завтра? —

Мать отрицательно покачала головой. Чтобы найти нужные папки, надо перебрать сотни дел, сваленных как попало. А это не так просто в их условиях. Хранилище — обыкновенный полуподвал с железными решётками. Полутьма, холод, грязь, и вот там, в дальней половине, эта гора бумаг. Затруднение ещё в том, что её молодые помощники на месяц мобилизованы на завод, и, значит, разборку придётся вести ей одной. А у неё ещё не кончена одна большая неотложная работа.

— Как же быть? — помолчав, инженер заговорил вполголоса:

— Нам дано задание — в кратчайший срок проложить железную дорогу как раз в том районе, который обследовала экспедиция. Их гидрогеологические карты, схемы, все изыскания нужны нам до зарезу. Это выигрыш во времени,

в средствах, силах — во всём. А главное, во времени. Теперь вы понимаете, почему я так прошу ускорить...

— Хорошо. Завтра я начну разборку,— сказала мать.

И в этот вечер она была такой говорливой, такой весёлой, что Галя подумала: «Маме, очевидно, надо много-много работы, чтобы быть довольной».

ДЕВОЧКА ИЗ БЕЛГОРОДА

Галя стояла перед булочной в конце очереди, когда подошла девочка в жёлтом, как подсолнух, пальто.

— Ты последняя? — спросила она Галю. — Я за тобой.

У девочки всё было под стать: и жёлтый беретик, и пальто с прозрачными алыми пуговицами. Две длинные косы без лент покачивались на спине.

— Галоши забыли взять,— сказала она, очищая о камень грязные подошвы ботинок. — Всё оставили в Белгороде. У меня кукла была с закрывающимися глазами. И её оставили, вот как...

Девочка как будто удивлялась сама себе. Мимо, осторожно перескакивая через лужи, пробежала белая кошка.

— Воды боятся. Они все такие бояки. У нас был Бонза. Вот такой котище! Его даже собаки боялись. А умный какой! Мама на него рассердится: «Выйди вон!» Он бочком, бочком и утянется к себе.

Удивительная девочка! Она разговаривала с Галей, как со старой знакомой. Может быть, она приняла её за какую-то другую девочку?

— Когда мы уходили, Бонза бежал за нами до самого вокзала. Владик ревёт, и я реву. Слезы, как ручей, бегут, бегут.

Девочка засмеялась. У неё были белые пухлые веки. Когда она их поднимала, из глаз словно вырывалось синее смеющееся пламя. Глаза смеялись даже тогда, когда она говорила о покинутом Бонзе. Может быть, она и сама не знала, что глаза смеются без её ведома, сами по себе.

Девочку звали Асей. Ася Скрипко. Она только-только начала здесь учиться. Её приняли в другую, не Галину, школу, но тоже в третий класс, хотя она была младше Гали на целый год!

— Ой, мы ехали как, если бы ты знала! Нас бомбили, мы прятались в лесу, в канавах. Мама заболела. Я бегала за кипятком, чуть не застряла где-то. Ой, что было! На доро-

ге нога валялась в туфельке. Одна нога, понимаешь! А тёти самой нигде не было...

Ася говорила, глядя куда-то вдаль. Сейчас она как-будто находилась на другой земле, где всё было непонятно и страшно.

— А вы по арифметике что прошли? — спросила Галя.

Ася стала перечислять все правила. Оказывается, в её школе учили то же самое, что и здесь, за много-много километров от Белгорода. И учительница была такая же.

— Строгая какая, не даёт совершенно подсказывать. А задачи какие трудные задавала на дом.

— И у нас тоже, — сказала Галя.

Поразительно, как сходились их школьные дела. Словно они учились в одной и той же школе и сидели в одном классе.

В подвальчике, куда они зашли, вкусно пахло горячим чёрным хлебом.

— Ты съешь пятьдесят шоколадных «Мишек»? — спросила Ася вдруг.

— Больше! Сто или сто пять.

— Я тоже. Такая обжора стала, ой! — она засмеялась над собой. — А какая глупая была я раньше. Папа купит мне кучу маленьких пироженок, я шишечку из крема слижу, а остальное брошу. Ты подумай!

— Девочка, подавай!

Ася протянула две карточки.

— На сколько дней? — продавщица нетерпеливо застучала ножницами.

Ася испуганно охнула: а где третья, рабочая, карточка? И заметалась на месте.

— Не задерживай, не задерживай! — закричали сзади.

— Видишь, карточку потеряла, — произнёс чей-то сочувственный голос.

— Эти шалыганы, наверное, свистнули. Гоните их прочь, — закричало несколько голосов на мальчишек, толпившихся у прилавка.

Ася растерянно оглядывала затоптанный каменный пол.

— Ну уж, что с возу упало, то пропало, — вздыхала вблизи старушка. — Хорошо, что при конце месяца. А сколь бедно, когда целую-то карточку выдернут...

Девочки вышли на улицу. Тайлась маленькая надежда, что хлебная карточка валяется где-нибудь возле булочной. Нет, на земле белели лишь окурки да ненужные бумажки.

— Ты эти-то не потеряй. Где они у тебя?

Сейчас, когда с Асей случилось такое несчастье, Галя считала себя обязанной присматривать за ней, как за маленькой. Свой клеёный бумажник с карточками Галя сжимала так крепко, что ладонь была мокрой.

— Мама заругает меня. Она как рассердится, то уж не помнит себя. А потом опять ничего...

— Ты где живёшь?

Гале не хотелось отпускать от себя Асю. Может, если Асина мама увидит их вдвоём, то не будет ругать, а потом забудет. Оказалось, Ася жила в квартире Ирмы Пересыпкиной, всего в двух кварталах от дома Гали.

— Ой! Вот она,—радостно вскрикнула Ася и вытянула из внутреннего кармана пальто пропавшую карточку.— Сама засунула и сама забыла. Бежим скорее!

В булочной на них напал беспричинный смех. Все оглядывались, но им было всё равно. Хорошо стоять вдвоём, не обращая ни на кого внимания, и болтать обо всём, что вздумается.

На обратном пути Ася сказала, останавливаясь около двухэтажного деревянного дома:

— Зайдём к нам! Ну, на минуточку...

Галя заколебалась: она не прочь ещё побыть с Асей, но идти к Ирме Пересыпкиной, к её важной, гордой бабушке, нет, нет! — лучше домой.

Как-то зашла она к Ирме с Надей Кузнецовой, тихой, хорошей девочкой. И так было весело троём: они поиграли в шашки, потом в «морской бой», потом просто стали дурачиться. А бабушке не понравилось. «Надя тебе не пара,— сказала она Ирме.— Надя из простой семьи: мать у неё уборщица». Ну и что такого, что мать Нади уборщица в школе? Если бы её не было, знаешь, как было бы в школе грязно. Бабушка уж очень гордится отцом Ирмы: «Сын у меня был профессором консерватории». Был, но теперь ведь его нет: он умер. И не бабушка была профессором, а он. Верно, Ася?

— Я ничего, ничего не слышу,— Ася закрыла ухо одной рукой, а другой потянула Галю за собой.

Дома у Аси не было никого.

— А на чём вы обедаете? — спросила Галя, оглядывая пустую комнату.

Ася засмеялась. Пока обеденным столом служил им вот этот прогорелый табурет с дырочкой посередине.

— Слышишь, как голос отдаётся? Ау!

Они с минуту слушали свои голоса, звучавшие, как голоса великанов. Потом Ася мысленно перевернула комнату «вверх ногами», так что потолок стал полом, и Галя вместе с Асей минут десять размещала воображаемые вещи на всех выступах и уступчиках воображаемого пола.

— Это мой папа,— сказала Ася, вынув из чемодана небольшую фотокарточку.— Нравится? Ты видела в кино самолет-бомбардировщик? Папа мой на таком же летает.

Глядя на карточку, можно было сразу отгадать, что это Асин папа: те же смеющиеся, как у Аси, глаза и такая же ямочка на подбородке, только пошире и поглубже.

— Мой папа добрый-предобрый,— Ася чмокнула карточку и молниеносно упрятала её опять в чемодан.

Она всё делала быстро. Галя только хотела сказать ей о своём отце, что он радист и тоже очень, очень добрый, как Ася потащила её в другую комнату, где жила Ирма Пересыпкина.

— Пойдём, пойдём. У неё чудный-пречудный альбом.

Ирма встретила Галю коротким возгласом:

— Это ты...

Она не обрадовалась её приходу, она лишь удивилась тому, что Ася уж успела где-то познакомиться с Галей. С явной неохотой подав им альбом, она отошла в сторону.

Альбом был большой, внушительный. На тёмно-зелёном плюше красовалась алая роза, углы корочек прятались под узорным золотым колпачком.

Ася осторожно откинула плюшевую корку. На розовом тяжёлом листе глянцевої бумаги было четко выведено: «Дорогой внучке Ирмочке». Дальше пошли картинки: девочки в воздушных платьицах и золочёных туфельках, мальчики с бантиками на шёлковых чулках, попеременно с ними — необыкновенно яркие цветы, гномы, деды-морозы и голуби, державшие в лапах конвертики, перевязанные ленточками. Картинки были наклеены то справа, то слева. Для записей оставалось много места.

— Прелесть, правда? — шёпотом спросила Ася.

Галя молча качнула головой. Её, как и Асю, ослепило это дешёвое великолепие.

Тогда Ирма, тронутая их восхищением, подобрела. Она сказала, что это очень дорогой альбом, его делали ещё в старое время. Ирма говорила, томно склонив набок голову, и

перебирала белой пухлой рукой цветы, стоявшие в хрустальной вазе.

— А кому ты дашь писать? — спросила Галя.

Ирма неопределённо повела бровью. Она пока не решила. Бабушка советует подождать года два, а то сейчас девочки «набалакают» как попало.

— Два года! — ахнула Галя. — Тогда лучше уж самодельный альбом. Его не жалко. А здесь клякнешь, и кок...

— Что «кок»?

— Ну, кок. Знаешь, яичко, его кокнешь, и все.

— Тебе завидно, вот ты и говоришь — «кок».

Галя засмеялась нарочно громко.

— Завидно? Вот уже нисколько не завидно. У меня свой есть альбом. И картинки есть. И могу сделать ещё, сколько угодно. Верно, Ася? Ты взяла бы её альбом даром?

— Вот смешная! — возмутилась Ирма, забирая со стола альбом. — Мой альбом, а она его предлагает: «Возьми даром». Вот спасибо.

— Я не отдаю, — смутилась Галя. — Я только думаю...

Ася шумной скороговоркой перебила её, зажмурив глаза:

— Глагол будущего времени, предложного падежа, условного наклонения...

И залилась смехом над своей бессмыслицей. Ей хотелось в самом начале потушить ссору.

В комнату вошла бабушка — большая, важная, с пышными валиками седых волос на голове. Небрежно ответив на приветствие Гали, она сказала Ирме:

— Иди завтракать.

— А сколько времени, Матрона Матвеевна? — спросила Галя.

— Не «сколько времени», а который час, — поправила бабушка.

Галя заторопилась домой.

— Ты заходи, — сказала Ася, проводив её до дверей. — Я тоже буду к тебе приходить. Я свой стишок тебе напишу в альбом. Я умею, — прибавила она тихо.

Дорогой Галя думала: если бы Ася жила у них в доме!

Они бы вместе учили уроки, играли бы вместе. Всё бы вместе.

Во дворе у себя Галя задержалась, глядя на мальчишек, столпившихся у калитки. Дима Колосов, самый рослый из ребят, набирал отряд добровольцев на фронт. На воротах, за его спиной, было крупно выписано мелом: «Ленинский воен-

комат». С саблей, с портупеей, красиво перекинутой через плечо, Дима зорким взглядом осматривал каждого «добро-вольца» и коротко изрекал приговор: «Годеи влетчики!» или «Годеи в танкисты!» Дима брал в отряд только школьников, малышам безжалостно отказывал. Когда к нему приковылял Эдик Назаров в длинных-предлинных штанах и его приятель Юрка Мухтаров, Дима сказал с непреклонным видом: «Не годитесь! Подрасти надо».

Гале хотелось ещё понаблюдать за ребятами, но вспомнила, что не выучены уроки, и побежала домой.

ВДВОЁМ

Старик Родионов работал в мастерской при магазине, который открывался с десяти. Он мог не спешить. Позавтракав и вскипятив воду на таганке, он наполнял термос и, перекинув его через плечо, брал в руки чемоданчик с часовым инструментом. Его время было размерено по минутам.

• В шесть с половиной часов, не раньше и не позже, он возвращался домой и остаток дня посвящал хозяйству. У него уже была своя посуда: кастрюли, тарелки, таз, которые он где-то раздобыл в первые же дни приезда.

За эту независимость и порядок в домашнем обиходе его уважала не только Наталья Ивановна, но и Даша Орешкина, вечно одолавшая у соседей вещи и деньги.

— Вот Федосья Степановна нам какого мужика поставила. Каждый день на кухне топчется. Хозяйственный человек! — говорила Орешкина соседкам с ноткой гордости в голосе.

Но иной раз она без всяких оснований заявляла:

— Леонид Петрович, он хитрый и скупой старик. Я по глазам вижу.

— Ни капельки не хитрый и не скупой, — обыкновенно возражала Галя.

Старик не был с ней ни особенно ласков, ни особенно разговорчив. Но, издали, не вмешиваясь ни во что, следил за ней добрым, всё предусматривающим, умным взглядом. Галя тянулась к нему, но зря не досаждала.

Родионов любил порядок во всём. Придя с работы, он бережно ставил к стене чемоданчик, снимал с плеча пустой термос и садился к окну подремать.

Через полчаса шёл в кухню. Здесь порядок и очерёдность

работ соблюдались им особенно неукоснительно. Галя знала их наизусть.

Вот начали потрескивать дрова в плите. Значит, через минуту Родионов будет носить в кухню посуду и продукты. Лапшу возьмёт из белого мешочка, подвешенного к окну, крупу — из скрипучей плетёной корзины, задвинутой под кровать. Затем оторвёт головку от луковой косички, висящей на рогожной спинке дивана, и заберёт с подоконника банку с маслом.

После того он плотно прикроет за собой обе створки кухонной двери, и в этот час уже никто, даже Галя, не дерзнёт проникнуть туда. Только Мыр, заслышав стук ножа, начнёт царапать когтями и приоткрывать створки своей упрямой чёрной головой.

Напрасно! Родионов открывал дверь лишь после окончания всех работ, ни минутой раньше. Он выходил из кухни порозовевший, со сбитым галстуком, но с чистыми руками. Поправив перед зеркалом свой рабочий костюм, он садился снова к окну и затихал. Вскоре раздавался лёгкий храп. Бритые, когда-то полные щёки его по-стариковски обвисали, тело сползало вниз, рот приоткрывался. Время от времени он вздрагивал и, закрыв рот, испуганно встряхивал головой. Затем, проснувшись, надевал очки и шуршал газетой возле своей коптилки.

В девять часов, когда разрешалось пользоваться электричеством, Галя включала лампочку. Слабый, чуть мерцающий свет озарял комнату. Старик вынимал носки или бельё и начинал штопать. Он действовал иголкой с неловкой и медлительной старательностью, всецело погружённый в работу.

Немного погодя, принималась за шитьё и Галя. У неё были две куклы: Светлана с бледным кротким лицом и розовый толстый пупс.

— Я Светланочке сшила праздничное платье. Она у меня балетница и скоро будет выступать в театре. Но, знаете, платье никак не налезает на неё: узко в плечах. Вот посмотрите,

Родионов сквозь очки разглядывал платье, длиной в полтора пальца, и говорил после некоторого размышления:

— Если вставить сюда клинышек и сюда, то платье ей будет впору.

— А вы умеете делать разрезные платья?— спрашивала Галя.

— Я? Я старый портной. Всё могу.

Аккуратно, с сосредоточенным видом он вырезывал клиншки из шёлкового лоскута, который цеплялся за его шершавые пальцы, как за репей. Однажды он выкроил для Светланы пальто с модными рукавами. В ответ Галя заштопала ему носки, чем он остался очень доволен.

Как-то Родионов сказал:

— Ты, Галя, счастливая: при Советской власти родилась.

— А вы разве при капиталистической?

— А ты как думаешь?

— При Советской...

— Хорошо бы так. Мне было уж тридцать лет, когда царя свергли.

Галя во все глаза смотрела на Родионова. Вот это да! Леонид Петрович жил, оказывается, при капиталистической власти и был во время гражданской войны. Всему этому верилось и не верилось.

— А мама моя застала капиталистическую власть?

— Должна. Лет с десяток, наверно, прожила при царе.

— И папа?

— И он.

Галя была ошеломлена открытием. До сих пор она думала, что родилась давным-давно и всегда была Советская власть. «Как хорошо,— подумала она,— что до меня всё переменялось».

Этот разговор пробудил в ней интерес к «взрослым» книгам о гражданской войне, которые прежде её мало привлекали.

— Замечательная книга! — говорила она Родионову, кончив читать «Как закалялась сталь». — Я даже не знаю, как это я раньше не прочла её.

— История — очень поучительная вещь, — отвечал ей Родионов. — Вот эта война пройдёт и тоже будет историей.

— И мы её будем учить?

— Обязательно.

— Вот хорошо! Мне не надо будет учить. Я уж знаю.

В тот день, когда радио сообщило о разгроме немцев под Москвой, Родионов сказал: — Ну, все труды Гитлера пропали даром. Сколько сил положил...

Галя удивлённо посмотрела на него.

— Вам его жалко?

— А ты как думаешь? Эх, милая! Да я готов десять лет батрачить, чтобы только ему голову срубили.

Иногда речь заходила о мальчиках, живущих во дворе.

Родионову нравился Дима Колосов, часто бравший из домашней библиотеки Натальи Ивановны разные исторические книги.

— С понятием мальчик, не драчун.

Гале было приятно, что хвалят её приятеля. Желая ещё больше возвысить его в глазах Родионова, она сказала:

— Дима — исторический мальчик: историю любит. И он ещё стихи сочиняет.

В один из вечеров Галя прочла стихотворение Димы Колосова.

Москва! По улицам идут полки,
Идут бойцы, блестят штыки.
Заняв все главные проходы,
Несутся танковые взводы.
И самолёты в высоте —
Москва в военной красоте!

Склонив голову набок, Родионов с большим вниманием прослушал стихотворение.

— Я поэтизм этих не знаю, но чувствую, мальчик далеко пойдёт. У него хороший слог.

И, немного подумав, Родионов тут же на ходу сам сочинил стишок из двух строчек.

Трудись, трудись, девочка,
Будет тебе юбочка.

До прихода матери Галя успевала переговорить с ним обо всём на свете. Старик вслух изумлялся — откуда у неё берется так много-много слов:

— Не в обиду будь тебе сказано, Галина, мама твоя мало говорит и папа, наверное, тоже. А ты в кого?

Однажды он сказал:

— Вот кончится война, приезжай к моей Юлечке. Ах, какая она умница! Сама научилась читать. А какие зоркие глазки! Упадёт у меня колесико, махонькое, с крупинку, на пол — разыщет и притащит ко мне: «Вот, дедонько».

Больше он ничего не добавил об Юлечке, и Галя не посмела его расспрашивать.

Она сказала только:

— Я обязательно к вам приеду.

Так коротали они вдвоём длинные безрадостные вечера первого военного года. Галя не ложилась спать, пока не придёт мама. Старик бодрствовал в ожидании сына.

Знакомый стук — два коротких удара в дверь, и Галя птицей летела в сени. Наталья Ивановна говорила Родионо-

ву: «Добрый вечер!» — и целовала дочь, подпрыгивающую чуть не до потолка.

Саша являлся позже. Наскоро поужинав, он усаживался поближе к свету и начинал что-то чертить и вычислять.

Иногда по вечерам, в досужие часы в общий разговор вступала Даша Орешкина. Её излюбленным местом была круглая голландская печка, к которой она приваливалась, заложив руки назад.

— У нас опять дело,— сообщала она вдруг после недолгого молчания.— Одна заведующая магазином присвоила себе шестнадцать кило масла и десять кило сахара. Завтра будут судить. Лет пять, наверно, дадут.

Подобные новости Орешкина приносила довольно часто из народного суда, где работала курьером.

Обращаясь к Саше, она спрашивала сразу же, без всякого перехода, правда или нет, что наши войска оставили такой-то город.

Получив отрицательный ответ, с негодованием восклицала:

— Вот народ какой, болтают, что в башку взлезет! Раз город наш, зачем распускать о нём пустые слухи? Я бы штрафовала таких баб.

Плотно сомкнув бесцветные губы, Орешкина погружалась в непонятное для Гали оцененение.

В наступившем молчании становилось слышно, как мерно, одной непрерывной волной несётся над крышей густой гул моторного завода, находящегося на окраине; по улице, сотрясая старые стены, катится что-то тяжёлое — не то грузовик, не то танкетка, а из отдаления, с полигона, подобно грохоту разваленной поленницы, прокатывается по временам пушечный глухой выстрел.

ТЁТЯ ОЛЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Большие хозяйственные дела Галя обычно откладывала на воскресенье или субботу. Сегодня как раз воскресенье. Дома нет никого с утра. Мать и Орешкина ещё затемно ушли занимать очередь за керосином. Родионовы удалились куда-то после завтрака. Галя — полная хозяйка в доме. Красота!

Два полотенца, шесть носовых платков, рейтузы и чулки — вот что ей надо выстирать до прихода матери. Так Галя решила вчера перед сном и так сделает обязательно.

Напевая и подпрыгивая, Галя идёт в сени и там в морозной полутьме набирает полешко за полешком охапку дров. Теперь надо нащепать лучины и поставить на плитку чугуна с водой, котелок с картошкой и, конечно, чайник.

После долгой возни с растопкой, сырые дрова, наконец, вспыхивают, дым понемногу рассеивается над плитой, и поленья начинают звонко пощёлкивать. Чёрный Мыр, шумно мурлыча, трётся о ноги Гали. В его жестяной чашке-«чапарульке» пусто. «Потерпи, Мырлик, мне пока не до тебя».

Галя стоит перед железным корытом, поставленным на две табуретки. Под ногами — детский стулик, в руках — стиральная доска. Как с вершины горы, смотрит она вниз и с наслаждением погружает руки в воздушную горячую шапку пены. Гале жарко. Обильный пот выступает на её лице. Гремит, сотрясаясь, корыто, бельё добродушно ворчит: «Жип, жип», — не слышно Гале, что кто-то стучит в дверь.

На повторный стук Галя бежит в сени.

— Кто там?

— Уваровы здесь живут?

— Здесь, но мамы дома нет.

— Галя, милая, это ты? Открой, пожалуйста. Это я — тётя Оля из Ленинграда.

Тётя Оля? Вот чудо! Галя ни разу не видела своей тёти. Она знала только: живет в Ленинграде двоюродная сестра отца — костюмер какого-то театра — очень хорошая, добрая. Каждый раз, как отец ездил туда в командировку, он привозил от тёти Оли то шоколадные шарики с ромом, то вышитую кофточку или шарфик. И вот эта никогда не виданная тётя вдруг очутилась здесь, у них, — стоит на крыльце и ждёт.

Галя поспешно снимает засов. Перед ней — две женщины: молодая и старушка. В руках у них по чемодану, а у молодой ещё рюкзак на спине.

Пока гости стряхивали с себя снег и раздевались, Галя рассказывала им о своей теперешней жизни.

— Так папы нет? Ах, какая досада! Мне так хотелось его повидать. Мы тебе помешали, Галя? Ты стирала?

Щуря голубые глаза, тётя Оля поправляла рассыпавшиеся русые волосы, собранные в низкий узел. На ней был тёмно-синий костюм, из-под которого выглядывала белая с крошечным бантиком кофточка.

Гале удивительно, что её тётя такая молодая: лет два-

дцати, не больше, хотя глаза немного старые, и на лбу уже морщинки.

— Как у вас тепло! Мы ужасно продрогли.

— Вы, может быть, чаю хотите?

Гале нечего больше предложить. Очень неудобно получилось. Гости, а дома один хлеб да засохший комочек кетовой икры. Хорошо, что картошка варится. Поедят, а потом чай. Ах, кажется, посуда не вымыта...

Пока Галя возилась в кухне, бабушка дремала на диване, а тётя Оля, щурясь, разглядывала географическую карту.

— Кушайте, пожалуйста,— Галя поставила котелок с картошкой на стол и придвинула к гостям хлеб и тарелки.

Но тётя Оля нарезала свой хлеб и, несмотря на протест Гали, не согласилась его убрать.

— Не волнуйся, Галечка, все будет съедено. Горячая картошка — как я её люблю! После войны я непременно введу специальный день картошки. На столе будет только картошка в мундире, без масла и, может быть, даже без хлеба. Ты, мама, поддержишь мою идею?

— Ну, уж извини. Чтобы в мирное время я ела одну картошку без масла — ни за что! Буду с маслом да ещё молочка подолью. Толчёнку сделаю, яичек набью...

Гале смешно. У старушки бойкие молодые глаза и совсем старушечий рот — без зубов. Видно, что бабушка старается есть медленно, но у неё не выходит. Коричневая морщинистая рука то и дело тянется к котёлку. Галя рада, что картошка так быстро убывает.

— Но как память об этих днях,— с улыбкой настаивает тётя Оля.— День картошки...

— И вспоминать не буду. Велик ли мой век, а уж пятую войну переживаю. Эта — страшнее всех. Тревога. Зенитки — трах-трах! Голод. Жива буду, совсем не так стану жить. Ни на что не буду сердиться. Сколько я волновалась, что соседям дали хорошую квартиру, а нам нет. Ой, какие это пустилки перед тем, что мы испытали...

После чая лицо старушки засияло полным довольством, щёки зарумянились. Удобно устроившись на диване, она начала вспоминать, как и где их кормили по дороге, при этом беспрестанно улыбалась, точно рассказывала не о себе, а о какой-то другой старушке, забавной, смешной.

— Привезли нас, Галенька, на какую-то станцию. Я хочу встать, ноги не держат. А только выпал снег, сугробы. Прой-

ду шаг, кувыркнушь. Вся перепурхалась в снегу, как курица. Привели нас в школу. А там тепло, светло, чисто. Дали по тарелке шей, жирных, мясных шей. Потом пшённой каши с маслом. Полную тарелку. Хлеба четыреста граммов. Я съела и суп, и кашу — всё. Мне стало тепло. Как от вина, разомлела. А есть ещё хочу. Прошу добавки. Мне говорят: «Нельзя много за один раз». Стряпухи толстые, хохочут надо мной. Вечером нас опять накормили. Я ем, ем, наесться не могу. Опять плачу, прошу: «Хоть полтарелочки щец!» Стыдно, неудобно, а не могу. Думаю, куда бы мне девать свой аппетит. Олечка, та не ходила выпрашивать, мне ещё от себя норовила отлить. Поехали дальше. Народ там рослый, здоровый. Девка какая-то взяла меня на руки и как кулёк закинула в грузовик. Одна всех перекидала. Лежим, как мёрзлые полешки. В Кирове нас устроили в санаторий. Кормили четыре раза. Щи, каша с маслом. Молоко, как нектар. Да ещё компот. Ой, мы тут ожили. Я там и свою палку оставила.

Прерывая речь словоохотливой старушки, Галя застенчиво сказала:

— Я схожу в магазин, а вы, пожалуйста, прилягте. Я скоро сбегаю.

— А ты всё правильно выкупаешь? Не путаешься в талончиках?

— Что вы! Это очень просто.

Галя ушла, нагрузив кошелёк на всякий случай баночками, бутылками, мешочками и газетами. «Пол не успела вымыть», — пожалела она, уходя.

Из магазина Галя возвращалась довольная. Еще бы! Она получила крупу, лярд и самое ценное-бесценное — шоколадные соевые кирпичики.

Вот и калитка. Родионовы уже дома, на столе — чайник.

Тётя Оля обернулась при входе Гали.

— Милая, ты же вся перемёрзла...

— А кто вымыл пол? — спросила Галя, недовольно оглядывая тёмные от влаги некрашенные половицы.

— Я не грешен, — сказал Саша.

Из кухни вышла бабушка.

— Деточка, уж не ругай меня. Смотрю, твой список работ висит. Ах, думаю, у девочки весь план сломали. И стирать помешали, и пол не дали вымыть. Не сердись, дружочек.

Тётя Оля со смехом притянула Галю к себе.

— Она — девочка разумная, на нас не будет сердиться за самоуправство. Нет? Я очень одобряю, что ты планируешь

день. Это тебя мама научила? Сама? Вот молодец. Все деловые люди точно так делают.

Она поцеловала Галю и, захватив её холодные пальцы, стала нежно растирать.

— Мы без тебя тут познакомились. Чай опять попили. Александр Леонидович голландку протопил. Он всё подтрунивает надо мной, что я ничего не понимаю в хозяйстве, и тебя ставит в пример.

— Правильно! Галя сама себе голова, а вы пока мамина дочь,— полушутя, полусерьёзно произнёс Саша.

— Ох, нет, Сашенька,— вздохнув сказала старушка.— Оля только на вид такая, будто слабая да нежная. Поглядели бы вы, как она на чердаке по ночам орудовала, сколько зажига-лок этих потушила, как раненых из-под обломков вытаскивала, как...

— Мама!

— Молчу, молчу! Да что говорить. Выжили, слава богу. И вот ведь какая натура у человека,— добродушно смеясь, продолжала старушка, обращаясь к Леониду Петровичу, который в это время просматривал газету.— Спасся человек от верной смерти, так порадуйся, повеселись подольше. Так нет ведь. Не успеет ещё прийти как следует в себя, уж начинает беспокоиться, чем жить да что у него есть. В Кирове, где я маленько ожила, стала смотреть, что же с собой взяли. О-хо-хо! К Оленьке в чемодан глянула — боже!

— Мама!

— Молчу, молчу...

— Да, все мы так,— раздумчиво сказал старый Родионов.— Когда человек живёт семьёй на одном месте, у него что-то есть. Я говорил Саше: «Прихвати ещё пару ботинок — пригодятся». Нет. «Зачем? Мы скоро вернёмся». Патефон взял. К чему? Книг гору набрал — такая тяжесть... Я не мог много нести. Захватил с собой чемодан с часовым инструментом: он меня будет кормить.

— Без книг я не могу. Это — мой хлеб.

Саша взял с подоконника стопу книг и стал перечислять их. Это были специальные труды по архитектуре.

— Я вам завидую,— сказала тётя Оля.— Я ни о чём так не жалею, как о книгах. Ах, какие у меня были собраны книги! По истории театра редчайшие издания с изумительными репродукциями.

— Что же вы взяли с собой? Надеюсь, это не государственная тайна?



— Нет, нет, не просите.

— Тётя Оля, а мне покажете?— спросила Галя.

— Тебе? Только не сейчас.

— А когда?

Тётя Оля наклонилась к её уху:

— Когда его не будет.

— Я не подслушиваю. Можете секретничать, сколько угодно,— сказал Саша с добродушной иронией.— Но всё равно я ваш секрет раскрою.

— Ни за что!— Галя перенесла «секретный» чемодан подальше, в угол.

Чемодан был необыкновенно лёгкий, не тяжелее школьной сумки, набитой книгами.

РАБОЧИЙ ЧЕМОДАН

Они были только вдвоём: Галя и тётя Оля. «Секретный» чемодан лежал перед ними. Тётя Оля всунула маленький ключик в замок, и чемодан открылся. Наверху белели две картонные коробки и сбоку — кукла. Но какая странная кукла! Вместо ног — толстая палка посередине туловища. Вот так кукла! И лицо у неё хотя и красивое, но тоже странное, и кто она, девочка или мальчик, не разберёшь.

Осторожно, с лёгкой улыбкой на лице, тётя Оля раскрыла коробку и вытащила оттуда что-то пышное, воздушное. Это были платья. Маленькие, кукольные, но сшитые по-настоящему — с сборками, манжетиками, складочками, как у людей. В другой коробке тоже были платья, а также пальто и шапочки.

У Гали разбежались глаза. Ни одно платье не походило на другое. На некоторых сверкали камни. Другие были подобны парче или расшиты яркой вышивкой.

Тётя Оля надела на куклу атласное платье, поверх ещё одежду с длинными рукавами, которые завязала ей за спиной. На голове заблестал кокошник, украшенный самоцветами.

— Это московская боярыня,— шепнула она.

Немного погодя на кукле красовалась широчайшая, из тяжёлого шёлка, юбка, натянутая на тонкий обруч. К юбке подстать была кофта, отделанная старинными кружевами, с узким перехватом в талии и глухим воротом, а также чёрная плетёная косынка. Теперь кукла была старой купчихой.

Минут через пять одинокая кукла стала польским паном и, наконец, превратилась в царя.

Тётя Оля снимала с куклы блестящее царское одеяние, когда в дверях появился Саша.

— Не прячьте! Теперь уже поздно,— смеясь, вскричал он, быстрыми шагами подходя к столу.— Но что это? Я никак не пойму. Какие-то шапочки, перелиночки... А! Понял. Это образцы костюмов вашего театра. Так?

Тётя Оля улыбнулась. Саша угадал.

С забавной осторожностью он рассматривал и шупал тщательно простроченные складки, оборки, воротнички.

— Дьявольское терпение... Я бы не мог. Но что же мы сидим в потёмках? Рискнём — может, есть свет...

Он щёлкнул выключателем и, к общей радости, лампочка загорелась. Сейчас наряды казались ещё прекраснее.

Саша держал в руке куклу, на которую надет был костюм модной французской маркизы.

— Подождите,— сказал он, подняв куклу к лампочке.— Что это? Плесень?..

Он потрогал ткань, подёрнутую в нескольких местах бледно-зелёной паутиной, и передал тёте Оле.

— Да, да,— подтвердила она и беспокойно стала перебирать платье, одно за другим.

Плесень была на всём. На тёмных тканях она лежала густой зелёной сеткой, образуя тот неприятный, ядовитый узор, какой бывает в комнате на отсыревшей штукатурке. На светлом лёгком материале плесень выступала тёмными, похожими на угри, точками.

— Ничего,— сказала тётя Оля, вздохнув.— Плесень можно очистить. Уберём пока с глаз,— и она стала укладывать платье в коробки.— Вам, наверное, всё это шитье,— обратилась она к Саше,— кажется пустой причудой. Правда?

— Ничуть. Я так не думаю,— ответил Саша серьёзно.— Это искусство особого рода. Это, кроме того, история материальной культуры. Вот передо мной костюм маркизы, и я уже представил Францию, высшее общество, ощутил ту эпоху. Нет, ваша работа — очень интересная и нужная.

— Я собирала всё это чуть не два года. Днём было некогда. Занималась ночью. Мама сердилась: порчу глаза. Вот эта вышивка. Я искала мотив целую неделю. А материал, сорт, цвет — всё находилось трудно, медленно. Надо точно, в соответствии с эпохой. В то время мне казалось всё это очень важным. А как началась война...

Губы тёти Оли дрогнули. Поспешно захлопнув чемодан, она сказала:

— Никому это не нужно теперь, и вообще вся моя работа... специальность...

— Но вы всё-таки взяли с собой этот чемодан, а не другой,— сказал Саша.

— Взяла. Сама не знаю почему. То, что дорого, не вырвешь из сердца сразу. Больно... Сегодня я долго стояла у оперного театра. Маляры мажут стены, окна, весело переговариваются между собой. Странно мне было смотреть, слушать... Не понимаю, как можно сейчас что-то красить, ремонтировать. Над нами нависла такая огромная опасность, а здесь люди спокойно занимаются своими делами, смеются, ходят в кино. Будто войны и нет...

— Я так же думал в первые дни,— медленно и серьезно заговорил Саша.— А огляделся — нет, совсем другая картина. Я имею отношение к строительству одного завода. Не чудеса, а больше, чем чудеса, творят люди. Оборона — вот что у всех на уме. Вы говорите: ремонтируют театр, зачем? Но поймите, тот, кто сомневается в победе, красить свой дом не будет. Он опустит руки... Нам очень горько и очень трудно сейчас. Но в своё будущее мы не перестали верить. Мы и родные места покидали с мечтой о будущем. Каждый из нас взял не простой чемодан, а рабочий. Я, например, забрал не одни книги. Я привёз проекты и чертежи, которые не успел реализовать. Хотите, я покажу вам что-нибудь.

Тётя Оля не сводила с Родионова напряжённого взгляда. Румянец проступил на её бледных щеках.

— Да? — неуверенно роняла она время от времени и, когда он кончил, сказала тихо: — Я оставила без сожаления все дорогие вещи. Я просто о них забыла. А об этом помнила каждую минуту.

— И мы также. Хотя у нас с отцом другое положение...

Саша вытащил туго свёрнутый рулон бумаги и раскинул его на столе: готовые проекты, выполненные в красках, эскизы отдельных деталей, рабочие чертежи.

Тётя Оля рассматривала их, как Галя: робко, с уважительной осторожностью трогая толстые негнущиеся листы. Неожиданно электрическая лампочка мигнула раза три и померкла, оставив чуть светящийся красный зубчик.

Разговор продолжался в темноте.

Прижавшись к тётке Оле, Галя вбирала каждое слово, и ей казалось, что она давно знает и тётю Олю и дядю Сашу и когда-то бывала у них на родине — в Ленинграде и в Рославле.

ОГОРЧЕНИЯ ГАЛИ

После первой встречи у булочной Ася Скрипко, девочка из Белгорода, несколько раз забежала к Гале, но ненадолго, спеша то в магазин, то в столовую, то в школу. В воскресенье Ася заходила всегда вдвоём — с Ирмой Пересыпкиной.

— Мы к тебе на минутку, — предупреждала Ирма каждый раз и, небрежно задав какой-нибудь вопрос, вставала перед зеркалом, чтобы поправить свои распущенные до плеч волосы и алый бант на макушке.

Ася в это время, усевшись на диван вместе с Галей, перебирала её «драгоценности»: стопы конфетных бумажек, чтобы играть в фантики, ворох цветных лоскутков и стёклышек, уложенных в крошечный сундучок, красочные открытки и самодельный альбом. В Белгороде Ася имела такие же сокровища. Здесь, в чужом городе, у неё не было ничего. Когда Асе что-нибудь особенно нравилось, Галя говорила:

— Бери, бери. У меня, видишь, как много всего.

Ирма прерывала их разговор:

— Ну, Ася, пойдём, нас дома заругают.

— Ах, какая ты торопыга! Мы же только что пришли, — с досадой отвечала Ася.

Тогда Ирма начинала дурачиться. Она перебивала их разговор, смеясь, перепутывала картинки, нарочно задирала Галю. Иногда, наклонившись к Асе, она шептала ей что-то на ухо и потом громко и неестественно смеялась. Ирма, казалось, сопровождала Асю с одной лишь целью — подзадорить Галю, показать, как Ася дружна с ней, как слушается её.

— Ах, у нас ужасно много дел, — говорила Ирма с загадочным видом. — Нас звала в гости одна знакомая тётя. У неё есть раскрашенные открытки. Она хочет нам подарить.

Галя закрывала за девочками дверь и с минуту стояла в сенях, чтобы войти в комнату с сухими глазами.

Так было в первое время. Потом Галя перестала уступать Ирме. С угрюмым упрямством она во всём возражала ей, и разговор кончался ссорой.

— Что с тобой? — спрашивала Галю мать. — Ты перечишь Ирме во всём, как будто назло.

— И буду перечить.

— Она неплохая девочка.

— Нет, плохая.

В редкий день мира девочки втроём отправлялись в кино. Ирма брала Асю под руку. Галя шагала поодаль.

Первые пять-десять минут разговор был общим, а потом Ирма с лукавым смешком начинала свою всегдашнюю таинственную болтовню, и Ася, забыв о Гале, тоже смеялась, неизвестно над чем.

Её легко было рассмешить. Ну, что же, пусть смеются, если им весело. Большие девочки, а не понимают, что если идёшь втроём, то и говорить надо втроём, сообща.

Галя сбавляла шаг и, выждав удобный момент, поспешно ныряла во встречный поток прохожих.

— Опять поссорились? — спрашивала дома Наталья Ивановна, встревоженно всматриваясь в её лицо.

Галю сердил этот вопрос. Мама судила очень просто. Она считала, что можно дружить и с Асей и с Ирмой. Лишь надо быть немного поуступчивей. Но как дружить втроём, если Ирма этого не хочет? Она себя только любит и никого больше.

— Ирма — неплохая девочка, — говорила мать. — Учится хорошо. Всё у неё в порядке... и платьице, и руки, и шея всегда чистые... Ведёт себя скромно.

— Да, да, — подтверждала насмешливо Галя, и веки её начинали вздрагивать. — Она добрая и тихая, как ангелочек...

— Ну, отойди от неё, если она тебе не нравится. Дружи с одной Асей.

— У Аси воли нет, — восклицала Галя в загоревшимися глазами. — Она во всём покоряется Ирме.

Ей было обидно, что мама, родная мама, хвалила противную Ирму, а её, Галю, дочь свою, осуждала. Если бы она только знала, как ведёт себя эта умненькая хорошая девочка, она не стала бы её восхвалять.

Галя не хотела больше видеть ни Ирмы, ни Аси. И когда замечала на улице пальто, похожее на подсолнух, и рядом красную задорную шапочку Ирмы, поспешно сворачивала в сторону.

СТАРШИЕ ПОДРУЖКИ

Зима то уходила, то приходила. Было всё: и мокрый, хлопьями снег, и дождь, и опять снег, пушистый, сверкающий, как в первый день зимы. Не один раз обнажалась земля, горбистая, грязная, облитая бурями водами; не один раз она вновь скрывалась под снегом, но уже было ясно — зима конец, побеждает весна.

Солнце посылало на землю столько ослепляющего света, что Галя, придя с улицы, бродила по комнате, точно слепая, натыкаясь на мебель.

Однажды подул ветер, и снег во дворе, ещё накануне блесивший нетронутой голубоватой гладью, стал оседать и проваливаться на глазах.

Это был первый весенний ветер. Галя, как замороженная, пошла ему навстречу, с наслаждением подставляя щёки под его лёгкую пахучую струю. Потом постояла у водосточной трубы, с которой свешивалась ледяная, узорная люстра. Заглянула в глубь промоины с обледеневшими окраинами и кустиками. По пути сбила с крыши кисть тонких слезящихся сосулук. Весна, весна!

Вскоре перед домом светло-зелёной кисейкой подернулись старые тополя. И от крыльца до самой калитки, вдоль каменных плит, протянулись две ярко-зелёные стёжки.

На заднем дворе, пока было грязно и пустынно. Лишь проворные трясогузки да воробьи деловито прыгали возле помоек и мусора.

Как-то явилась во двор управдомша с рулеткой и поделила эту землю между жильцами. Федосья Степановна первая очистила свой участок и первая воткнула в землю лопату.

Скоро высокие аккуратные гряды перерезали весь пустырь. Среди них была и грядка Гали.

Над её грядкой хлопотали чуть не все девочки со двора. Шумя и толкаясь, они прятали семечки, куда только вздумается. Пришлось потом Гале гадать, что же у неё взошло.

Тугой кулачок хмурых тёмно-зелёных листков — это картошка. А что вот это?

— Морковка, — сказала мать, но, взглядевшись в резные трепещущие былинки, прибавила: — Может быть, и укроп.

Мать путала всходы репы с редькой, и совсем не знала, что за круглые зелёные бляшки вылезли с краю гряды.

— Всё забыла, — огорчённо повторяла она.

Орешкина, та уж совсем не имела никакого понятия. Но посадка её увлекала.

— Гляди, что я нашла в подполье! Как уши у зайца, — кричала она, пробегая мимо Гали с двумя проросшими картофелинами. — Они в землю просятся.

Ткнув картошку, не разбирая куда, она кричала ещё веселее:

— У меня морковка кучей высыпала. Я горстями бросала. Думала, не вырастет.

Как-то на её грядку взглянула Федосья Степановна.

— Всё табунком вошло у тебя,— с сожалением и укоризной покачала она головой.— Знать-то, из моркови ничего не выйдет. С картошкой ей не ужиться. Придушит она морковь.

Остановившись перед Галиными всходами, она сказала:

— Я считаю, что это морковка у тебя. У неё жёлтая мякина. А укроп, он проворнее растёт, и мякина у него сглуба отливает.

Федосья Степановна всего три года назад покинула деревню, и разговоры о посевах доставляли ей большую радость.

Иногда в огород заходил Родионов. У него не было своего участка. Рассчитывая к осени вернуться в Рославль, он отказался от своей доли. Чужие посевы он осматривал из простого любопытства.

— Калега — это редька? — спрашивал он Федосью Степановну.

— Нет, калега — это особая статья... Её прозывают ещё брюквой.

— А турнепс — это не брюква?

— Нет, турнепс — совсем не родня брюкве. Он идёт скотине, на кормление. А брюква, как репа. Из неё парёнки сладкие-пресладкие выходят.

Родионова вполне удовлетворяли эти объяснения. Заложив руки назад, он удалялся неторопливым шагом.

Орешкина добродушно смеялась вслед:

— Леонид Петрович калегу с редькой смешал!

В июне тёмная густая зелень картошки сплошь покрыла двор. От дождей, часто перепадавших в это лето, ботва неудержимо тянулась вверх. За сохранностью кустов ревниво следили все хозяйки. Ведь это была их первая посадка.

Когда ребята затевали игры, и вихрь быстрых ног пронёсся по заросшим бороздам, в огород с яростным криком вылетала Орешкина. Впервые в жизни посадив свою картошку, она готова была растерзать каждого, кто осмелился бы примять хоть один её картофельный кустик.

Но ребята и сами, без предупреждения, бережно относились к посевам. Они понимали, что значит в хозяйстве картошка. К тому же эти богатые всходы поднялись не без их рук.

В это лето всем было некогда. Игры затевались лишь поздним вечером, когда матери возвращались с работы. Но

и тогда выходили не все ребята. Девочки постарше хозяйничали.

Для Гали особенно заметно было отсутствие её давней приятельницы — Кати Колосовой, весёлого коновода и силача. Катя не боялась никого во дворе, даже «дикошарого» Алёшки Приткина, вечно обижавшего девочек.

— Не подходи, а то как дам коромыслом по башке! — кричала она грозно, когда Алёшка пробовал наскочить на девочек, идущих с водой.

И вот эта Катя, девичий вожак и шумная затейница всяких игр, перестала вдруг совсем показываться на вечерних сборищах. Наконец, после долгого перерыва она появилась. Девочки сразу обступили её. Живо стукнув Катю ладонью в грудь, Галя крикнула:

— Я первая, ты вторая!

Катя не шелохнулась.

— Мне надо идти во вторую смену.

И затем самым обыкновенным тоном Катя сообщила, что она теперь швец и получает, кроме рабочей карточки, ещё двести рублей в месяц.

Заметив недоверие на лицах слушателей, она добавила, что работает в типографии, на машине, которая сшивает школьные тетрадки. Работа совсем нетрудная, только не надо зевать, а то, пожалуй, пришьёшь к тетрадке свой палец.

Алёшка Приткин, подскочив к ней, пренебрежительно фыркнул:

— Невидаль какая — двести рублей. Я, если захочу, могу тысячу заработать. Да, да, да.

Но ему никто не поверил, так как все знали, что он большой брехун.

Поговорив ещё немного, Катя сказала: «Кабы мне не опоздать». И все, глядя ей вслед, заметили, как степенно и важно вышагивает их старшая подружка, точно за один этот год она повзрослела лет на десять.

— Играть приходи! — крикнула ей Галя вдогонку.

Катя махнула рукой. Она как будто уходила на фронт, и ничто из прежней жизни её теперь не касалось.

Ещё раньше, весной, перестала участвовать в общих играх Дина Мухтарова, худая черноглазая шестиклассница, жившая на задах в покосившейся избушке.

— Я, наверно, уйду из школы, в ремесленное перейду, — сказала она как-то Гале, выйдя во двор.

— Почему?

— Там я что-нибудь изготавливать буду для фронта. Ты подумай, даже собаки, и те приносят пользу: снаряды на себе подвозят, раненых подбирают. А мы что?

— Маме помогаем,— ответила Галя не совсем уверенно.

— Ну и что? Я пол вымою для кого? Для себя. В магазин хожу для кого? Тоже для себя. Верно? И за Юркой и за козой гляжу — всё для себя.

— И для мамы.

— Всё равно это для себя. А для фронта что?

Галя задумалась.

«Что ты сделал для фронта?» — об этом уж давно спрашивал прохожих высокий, как памятник, красноармеец на картине, поставленной у железной решётки сквера. Когда Галя проходила по улице Ленина, он словно отделялся от белого холста и шагал ей навстречу, не отводя от неё сурового взгляда. Что могла сказать Галя в ответ: кiset вышила — раз, собирала металлический лом — два, аптекарскую посуду — три, заштопала несколько пар чулок для детдома — четыре...

Дина с насмешливым видом слушала перечень её маленьких дел.

— Чепуха! Зоя Космодемьянская вон что сделала. Она жизнь свою не пожалела.

Девочки одни были на заднем дворе. Отсюда далеко отодвинутыми казались дома, заборы. И ещё дальше от них — новые каменные здания, обступавшие полукругом этот островок старого города. Вокруг было тихо, солнечно, и ничто, кроме отдалённого трамвайного звона да коротких заводских гудков, не нарушало мирного безмолвия.

Взглянув на козу, подбиравшуюся к молодым всходам, Дина сердито рванула за верёвку.

— Мне маму жалко, а то бы я в партизаны давно убежала. Она очень устаёт на заводе. Вчера опять за столом уснула. Хмурая всё время. От папы давно нет писем.

Дина потупила смуглое худое лицо, и слезинка потекла по её щеке.

После этого Дина куда-то надолго запропала. Однажды вечером она появилась вдруг — в новеньком ватнике и сапогах. Усевшись на ступеньку крыльца, она с таинственным видом вытащила из-за голенища какую-то блестящую штучку, похожую на детский самоварчик, и сказала с гордостью:

— Для фронта мы делаем ещё лучше. Это из брака.

Поражённая, глядела Галя на свою недавнюю приятельницу. Вот так событие! Дина уже поступила на завод.

Придя домой, Галя спросила мать:

— Мама, а ты помогаешь фронту?

— А как, по-твоему?

— Я думаю, помогаешь, — ответила Галя с небольшой заминкой в голосе. — А я тебе помогаю немножко?

— Да.

— А множко?

— Тоже да.

— Но это ведь не для фронта, а для себя только?

— И для себя, и для нас с папой, и для всех. Ты мне очень помогаешь. О твоей работе я папе писала.

— А он?

— Вот прочти, что он пишет, — мать раскрыла письмо. — «Поцелуй Галю двенадцать раз. Она молодчина!»

ВОКРУГ ОДНОГО ОГОНЬКА

Тётя Оля заходила к Уваровым обычно в воскресенье под вечер. Она жила далеко, но в том же районе.

— Тётя Оля! — кричала Галя, заведя издали тонкую знаковую фигуру в синем костюме и белой строгой кофточке.

Сопровождая её до дому, Галя успевала рассказать все новости за прошедшую неделю. Мыр (о нём, конечно, прежде всего) сцапал опять воробышка и съел. Ночью кто-то из ребят выдергал морковь с одного конца грядки, а ботву разбросал по всей борозде. Мама подкапывала куст картошки, но там только махонькие орешки. Дядя Саша опять наткнулся где-то на старинный дом с какой-то необыкновенной башенкой и хочет показать его тёте Оле.

На пороге тётю Олю встречал Саша.

— Приветствую! — говорил он, вытягиваясь по-военному.

Старый Родионов, бегло оглядев свой костюм, вставал с места. Из комнатки выходила Орешкина с заспанным улыбающимся лицом и, вступив в общий разговор, смеялась по всякому поводу тем журчащим, тонким, как струйка, смехом, каким она смеялась, когда в доме появлялся приятный гость.

— А вы знаете, что я нашёл опять? — спрашивал Саша, едва тётя Оля усаживалась на свое любимое место, у окна. — Совершенно изумительный образец деревянной резьбы.

Саша брал карандаш и на клочке бумаги набрасывал рисунок.

— Я вам покажу обязательно, — прибавлял он в полной уверенности, что тётке Оле это так же интересно, как ему.

В свободное от работы время Саша Родионов часто бродил по городу. С пытливостью приезжего всматривался он в его особенности. Про себя с уважением отметил, что город вырос на каменной, не очень податливой земле и разместился, несмотря на это, так, как хотел, нигде не сдавшись перед горными кряжами, гранитными горбами. Полюбилось Саше и здешнее небо, высокое, строгое. Оно раздавалось здесь величавей, чем в Рославле. Некоторые его знакомые проклинали здешние ветры, ругали город и весь Урал. А Саша даже в холодных пронизывающих ветрах находил особую прелесть и нарочно ходил без шарфа, чтобы закалить себя.

В первые же дни приезда город поразил его резкой противоположностью в постройках. Светлая каменная громада в четыре-пять этажей, а подле, чуть не впритык — одряхлевшая вросшая в землю хибарка в одно-два подслеповатых оконца со ставенками. Так было сплошь и рядом в центре. Но на окраинах, у заводов, поднимались новые многоэтажные корпуса — с балконами, асфальтовыми панелями, с песочницами и детскими грибками в тенистых просторных скверах. Новый город наступал на старый с непреклонностью и добродушием победителя. Деловую уверенную поступь и смелый вольный размах чувствовал Саша в его молодом облике.

Испытующе вглядывался он также в архитектурные памятники ушедшей старины, гадая про себя, чем руководствовался создатель при их постройке. Подолгу простаивал перед домами, украшенными затейливой резьбой, изучал чугунные решётки и ограды.

Желая узнать историю того или другого здания, Саша начал посещать архив, а затем и краеведческий музей, куда поступила работать тётя Оля. Скоро и ей передалось его увлечение, и она так же, как он, каждую свободную минуту отводила кропотливым розыскам документов по истории местной архитектуры.

О своих находках они часто толковали, встречаясь в квартире Уваровых.

Галя слушала их горячий беспорядочный разговор, прерываемый шутками, смехом, стараясь понять сложные и странные интересы взрослых, которым они отдавались в свободные часы.

Время, казалось, замедляло тогда свой стремительный бег и после ужина останавливалось совсем, являя перед притихшей Галей одну и ту же картину.

У стола сидит мать, склонившись над шитьём с умиротворённым добрым выражением лица, Саша ходит взад и вперёд, ероша то и дело свои чёрные густые волосы. У голландской печки, как зоркий часовой, стоит Даша Орешкина. И за диваном, опершись на спинку,— Леонид Петрович.

Чуть колеблется белая короткая шторка на окне. Огонёк коптилки с касторовым маслом то пугливо, припадает к фитильку, то вытягивается в длинный трепещущий язык.

Одна и та же картина, одно и то же мирное видение жизни перед отходом ко сну.

Иногда Галя ловила на себе внимательный спрашивающий взгляд матери: «Понятно ли тебе?»

«Да, да, всё понятно»,— отвечала Галя коротким нетерпеливым взглядом и снова обращала немигающие, напряжённо расширенные глаза на Сашу или на тётю Олю.

Часам к одиннадцати разговор затихал. Тётя Оля вспоминала, что мать дала ей одно хозяйственное поручение к Гале. Старушка по слабости здоровья не могла часто навещать в магазины и через Галю узнавала, что выдают по карточкам. Галя сообщала определённо и коротко. Боясь, что тётя Оля что-нибудь перепутает или забудет, Галя ещё раз повторяла с начала до конца, иногда записывала на булавке.

Саша слушал их разговор с лёгкой усмешкой.

— Деловой, точный ответ. Сразу видно, что человек серьёзно относится к своим обязанностям, не то, что некоторые интеллигенты...

Тётя Оля начинала прощаться. Все выходили в переднюю, Саша надевал шляпу.

— Вы опять всю дорогу будете развлекать меня своей архитектурой? — улыбаясь, спрашивала его тётя Оля.

— Обязательно...

— Это ужасно. Я иду по улице и, запрокинув голову, глазею на каждый дом. Я разучилась просто смотреть и просто любоваться.

— У вас вырабатывается взгляд архитектора. Великолепно!

— Ты знаешь, Наташа,— обращалась она к Наталье Ивановне,— какое чудо искусства показал он мне в прошлый раз? Чёрную деревянную развалину! И в течение получаса

серьёзно уверял меня, что дряхлые, чуть живые столбы — это чудесные коринфские колонны, что тупой облезлый колпак наверху — это изящное купольное венчание и что стены, между прочим, без окон и дверей, — это какая-то идеальная плоскость.

— Ольга Васильевна, — с шутивым укором поправлял Саша. — Вы отступаете от истины. После моих объяснений вы сказали: «Он, вероятно, был очень красив. Жаль, что его не сберегли вовремя». Я сказал: «Дом взят на учет и, как только война кончится, его реставрируют». Вот что сказали вы и что сказал я.

Очень мирно и очень дружно протекали весенние вечера в старом доме. И Гале думалось, что так будет всегда: вечер, огонёк на столе и вокруг него — все они, как одна большая семья.

ТРИ ВЕЧЕРА

Наступило лето, и всё повернулось по-другому.

Поздний час. Только что затих голос диктора, сообщавшего последнюю военную сводку.

— Новое направление, — задумчиво замечает мать и отводит глаза в сторону от вопросительного взгляда Гали.

Тётя Оля, опустив голову, перебирает тонкими пальцами край скатерти.

— Странное состояние, — тихо говорит она, ни к кому не обращаясь, — живёшь, как при затмении солнца. Днём — зной, солнце слепит глаза, а кажется, что везде полумрак, и все притихли, томятся — когда же?.. На работе забываешь, даже смеёшься. А ночью... Ждёшь сводки в восемь часов, в десять, в два. Думаешь, вот сейчас скажут: «Остановили!» Но нет. И опять утро, опять ожидание и опять томление до головной боли... Как кровью вписано в мозг: война, война!

Саша шумно отодвигает от себя доску, на которой натянут его рабочий чертёж.

— Да, вот сидим и ждём, когда чья-то рука сдёрнет пелену с солнца. Ждём! — он со злой издёвкой повторяет последнее слово и начинает ходить взад-вперед. — А наши дорогие союзнички считают доллары, ведут свою политику.

Снова вечер. Саша стоит среди комнаты. Что-то напряжённое и беспокойное горит в его больших карих глазах.

— Всё, что мы с вами делаем сейчас, — медленно и твёрдо произносит он, сдвинув брови, — пустое самоутешение, види-

мость работы. Когда корабль попадает в бурю, команда и пассажиры делают только то, что ведёт к спасению корабля, ничем больше они не смеют заниматься.

— Вы хотите сказать...— встревоженно перебивает его тётя Оля.

— Я хочу сказать, что сейчас такой момент, когда каждый должен или идти на фронт, или делать мины, снаряды, пушки. Есть только два пути. Всё остальное должно быть отброшено немедленно.

— Наташа, ты слышишь, что он говорит?— восклицает тётя Оля.— Если послушать его, то надо сегодня же закрыть все театры, музеи, может быть, вузы. Так ведь?

— Может быть, и так. Я не хочу и просто не имею права касаться вашей личной работы. Я о себе говорю и только себе предъявляю счёт.

— Почему только себе?— спрашивает Наталья Ивановна, отодвигая от себя работу.— И почему только два пути? Вы забываете, что не все профессии могут прямо служить фронту. Есть косвенное служение. Вот, например, работа в архиве. Недавно мы подготовили к печати сборник документов: «Урал в 1812 году». Мало кто знает, что Урал в двенадцатом году откликнулся на оборону отечества с необычайной энергией и быстротой. Материалы изумительные. Меня они лично волнуют до слёз. И я уверена, что эта книга обязательно отзовется в сердце читателя. Нужно это дело сейчас? Бесспорно, нужно. Большое ли оно? Стоит ли оно на главной дороге? Нет, конечно. Тут обольщаться не приходится. Но мы всё-таки что-то делаем для страны. Правда, очень мало и почти незримо. У вас же всё видимо, всё прямо направлено на оборону...

— У-меня?— вспыхивает Саша.— У меня нет оснований для самоуважения,— порывшись в кармане, он вытаскивает маленькую фотографию.— Вот кто работает, как надо. И вот кто, действительно, настоящий боец тыла. Эта девушка за одну только смену заряжает две тысячи восьмьсот снарядов...

Фотография обходит стол и, наконец, попадает в руки Гале. Из туманного фона глядит на неё совсем простая, молоденькая девушка.

— Две тысячи восьмьсот!— шепчет Галя, и в её воображении возникает бесконечный поток снарядов.

— А вы бы взглянули на её руки. Руки рабочего. В ссадинах, чёрные от масла, твёрдые... И думаете, она одна такая?

Их тысячи. Один знакомый мне бригадир проработал восемнадцать часов за станком и остался ещё на ночь. Я не понимаю, как он держался на ногах. А он ведь не просто стоял, а выполнял сложную работу. И причина не в том, что он мобилизован, (если человек не хочет, его не заставишь работать), а в том, что человек понимает, что надо для победы, и он не щадит себя. А мы...

Саша резко обрывает фразу и, отойдя в тень, начинает свертывать сигарку...

И третий вечер конца июля, как неожиданное сновидение, проплывает перед глазами Гали.

Родионовы у себя, в своей половине. Галя не видит ни старика, ни Сашу, но ей слышно всё, что они говорят.

— Ты, конечно, в магазин опять не заходил?— спрашивает отец.

— Нет.

— Кто же за тебя сходит? Думаешь, тебе на дом принесут?

— Нет, я этого не думаю.

— Тогда на что же надеешься? На отца? Отец здоров, стерпит и две и три очереди. Так, что ли?

В насмешливом вопросе старика звучат горечь и обида.

— Я был там. Несколько раз. Стоял...

— Ну?

— И поворачивал обратно...

— Я не понимаю тебя. В чём дело?

— Только во мне,— со странной замедленностью в голосе отвечает Саша и продолжает вдруг страстным полушёпотом:— Я не могу так больше жить, отец. Я схожу с ума от мысли, что я, комсомолец, здоровый парень, прошедший военную подготовку, сижу за канцелярским столом, болтаюсь в тылу. И это в те дни, когда враг готовит удар Сталинграду, рвётся на Кубань, к Баку, закидывает лапу чуть ли не на Урал...

— Но ты не по своей воле здесь, в тылу. У тебя броня.

— Но разве это может служить оправданием?

— Что же ты задумал?— глухо спрашивает отец после продолжительного молчания.

— На фронт! Я подал заявление.

— Тебя не отпустят...

— Отпустят! Любая женщина может заменить меня, любой инвалид-строитель.

— Государство от тебя не требует такой жертвы.

— Это не жертва. Это мой долг, отец...

...Саша Родионов уехал на фронт в начале августа.

После того, как он получил утвердительный ответ на своё заявление, он ещё несколько дней был дома, но мало кто его видел. Вспомнив что-то, он внезапно срывался с места; на час — на два являлся среди дня с гурьбой новых товарищей, тоже добровольцев, потом опять исчезал. Счастливая, рассеянная улыбка, не угасая, светила на его лице.

НОЧНОЙ ГРОХОТ

«Хорошо жить одной! Можно ходить в кино сколько угодно, играть с девочками вволю», — так думала Галя, когда в конце сентября мать уехала в район для проверки архива, и вскоре после неё отправилась на уборочную Даша Орешкина. Старый дом опустел.

Первые дни Галя не скучала в одиночестве, а потом приуныла. Особенно тоскливо было по вечерам. В комнате — промозглая сырость, нет света — надо спозаранку забираться в постель. Галя закутывалась с головой в тонкое жёсткое одеяло и наедине с собой размышляла над горестями и радостями своей маленькой жизни.

— Я написала «поскокать», вместо «поскакать». Неужели мне поставят «неуд» по контрольной?

— Сегодня у меня удача: хорошо прочла стихотворение на пионерском сборе и самостоятельно решила задачу. Но вот горе: разбила пузырёк с чернилами.

— Завтра после школы мы опять пойдём пилить дрова для матери одного фронтовика, а как я пойду так далеко? У меня совсем прохудились туфли. Иду — камешки царапают ногу. Надо новые стельки. А Приткин, наверно, возьмёт дорожного.

Сон обрывал её невесёлые размышления.

Однажды Галю разбудил под утро тяжёлый грохот. В испуге она вскочила с постели. За стеной лился гремучий грозный поток. Он опоясывал весь дом, сотрясая его до основания. Дребезжали окна, звенели металлические шарики на спинке кровати.

— Леонид Петрович! — крикнула Галя и сама не услышала своего голоса.

Вокруг было сумрачно и страшно. Окружающие предметы едва-едва проступали в предрассветном полумраке.

— Леонид Петрович! — крикнула Галя во весь голос.

Ответа не было. Босая, в одной рубашке, она скользнула к дивану. Холодный щелистый пол мелко вздрагивал под её ногами. Кровать Родионова была пуста. На стене не было ни пальто, ни шляпы.

На цыпочках Галя прошла на кухню и припала к окну. У раскрытой калитки стоял кто-то в шляпе, высокий, чуть сгорбленный. Леонид Петрович! Молниеносно одевшись, Галя помчалась во двор.

Родионов не удивился её появлению. Не глядя, притянул её руку к себе, и так стоял, напряжённо прислушиваясь к грохоту невидимого потока, который нарастал с каждой минутой.

— Что это?

— Танки! На фронт!

Танки двигались где-то за домами. Замерев, слушала Галя грозный гул этого бесконечного, неизвестно откуда начавшегося и неизвестно куда текущего гремящего потока. Она знала, что город её велик, что в нём много разных предприятий, работающих на оборону. Но только сейчас с какой-то пронзительной очевидностью поняла она, как громаден её город и сколько больших, неведомых ей дел вершит он.

Скоро грохот распался на металлический лязг и острое гудение. Танки шли, очевидно, медленно, точно боялись разбудить город. Наконец, грохот начал удаляться, слабеть. Пронёсся автомобиль, излучая позади багряный свет.

Родионов обернулся к Гале.

— Ну, что, Галина? Имеешь теперь представление, как гремят танки? Колонна, видно, немалая. На станцию движется. Куда теперь пойдём? Домой? Обожди, что это за пламя?— сказал он, всматриваясь в глубину улицы, где над тёмным рядом домов колыхался, то взвиваясь, то низко припадая, узкий бледно-жёлтый всполох пламени.— Пожар? Не похоже. Далеко где-то, в самом конце. Сходим, Галинка?

Они пошли. Галя с любопытством осматривалась по сторонам. В этом дальнем конце улицы она не бывала ни разу. Здесь всё ей незнакомо. Как в деревне, чёрные, покосившиеся домишки, завалинки, скворечники и какая-то особая, мирная, сельская тишина. А где же пламя? Оно исчезло сразу же, как только они начали углубляться в улицу. Жильё обрывалось вдруг. Последняя избушка и — овраг. За ним длиннейший деревянный забор. Забрав огромное пространство, забор опоясывал три каменных освещённых здания. И оттуда,

со двора, выплѣскивалось пламя. Окна зданий наполовину закрашены белым. Но выше совершенно отчётливо проступают тѣмные силуэты громадных труб и каких-то металлических сплетений. Тяжёлые удары, звон, лязг и шум моторов неумолчной волной несутся из окон. Так вот куда их привёл огненный факел. Завод! Маленький завод на пустыре.

— Работают...

До сих пор Галя была убеждена, что с наступлением ночи все люди укладываются спать, город засыпает. Но нет. Не спит этот завод, не спит, очевидно, и тот, который изготовил танки, не спит и железная дорога, которая отправляет орудия на фронт.

Галя оглянулась на Родионова. Он стоял с тем же углублённым в себя, сосредоточенным выражением на лице, как и час назад, когда слушал грохот невидимых танков. Он будто искал здесь что-то важное для себя и не мог найти.

Всю обратную дорогу Родионов был молчалив. Дома, опустившись на стул, сказал:

— Эх, Галинка, плохи наши дела: ты мала, а я стар. Был бы я помоложе...

— И что бы вы сделали? Пошли бы на фронт, да?

— Фронт или не фронт, не так по существу и важно. На том заводе, который мы только что видели, тоже фронт. А где мой фронт? Только и занятие моё, что колѣсики собирать да разбирать стрелочки, винтики, пружинки... А люди ночи напролёт не спят — куют победу. Видишь, как получается. Я сплю, а они работают. В оборонную стену гвоздь за гвоздём вколачивают. А где же мой гвоздь? Пока его нету. А так не должно быть. И я должен вбить свой гвоздь, каждый человек. Без этого какой смысл жизни? Какое оправдание? Не вижу оправдания...

ТАЙНА, ТАЙНА!

Родионов стоял перед зеркалом и озабоченно рассматривал багровый узелок на веке правого глаза.

— С чего бы это? — бормотал он. — Питаюсь как будто неплохо. Рабочий глаз!

— Серебрушкой потрите, — посоветовала Орешкина.

— Растирал — не проходит. Совсем не ко времени вскочил. Заказов много набрано.

В тот день, когда от сына пришло первое письмо с фрон-



та, Родионов угостил всех круглыми белыми пряниками и произвёл генеральную уборку в своей половине. Он тщательно вымыл и протёр посуду, разобрал в чемодане и корзинке вещи, перетряхнул залежавшуюся постель и, неуклюже ворочаясь в узком проходе между диваном и кроватью, вымыл пол.

А вечером, побрившись и причесав перед зеркалом седые, коротко стриженные волосы, надел праздничный костюм, шелковую рубашку с чёрным галстуком и отправился в театр на пьесу «Давным-давно».

— У нас тоже будет культпоход. Говорят, пьеса сверхзамечательная, — сказала Орешкина.

Из театра Родионов вернулся около полуночи. Засветив коптилку, он долго сидел на кровати, потирая лоб и что-то шепча про себя. Потом, придвинув к себе корзинку для белья, вытряхнул из неё содержимое и поставил туда два чемоданчика, обтянутых голубым дермантином, а сверху бережно уложил свой праздничный костюм. На рассвете, когда ещё все спали, он ушёл куда-то, взяв корзинку с собой.

В этот день в газетах была напечатана выигрышная таблица, и вечером в старом доме все проверяли облигации.

— Ну-ка, и мы попытаем счастье, — сказал Родионов, надевая очки.

Некоторое время он бесстрастно повторял вслух: «Нет, нет», потом вдруг изумлённо протянул: «Ого!» — и, отложив в сторону одну из облигаций, снова склонился над таблицей.

Закончив проверку, он громко объявил, с довольным видом потирая руки:

— Тысяча!

— Ой, вот безобразие! — радостно воскликнула Орешкина.

Немного погодя она сказала, ни к кому не обращаясь:

— Получила бирку на шубу. Пятьсот рублей не хватает. Не знаю, что и делать.

Родионов взглянул на неё и чуть заметно усмехнулся.

— Но я ещё не получил выигрыша.

— Нет, верно, дайте. Я вам сразу же верну. Я не обману.

— Не сомневаюсь, — он помолчал, что-то соображая, и сказал уже более твердо: — Извините, но я не могу одолжить вам такую сумму.

...Падал снег.

— Звёздочка на носу! — крикнула Галя, поровнявшись с Надей Кузнецовой.

Та схватилась за свой нос и, хохоча, они обе начали лопотать на бегу снежинки. Небо роняло на землю то палочки, короткие и мохнатые, то звёздочки, такие хрупкие и сказочно красивые, что к ним было боязно приблизиться.

Взявшись за руки, девочки побежали дальше, подскакивая в лад на одной ножке.

— Меня дома ждёт мёд,— сказала Галя и сделала четыре подскока.

— Меня дома ждёт молоко,— сказала Надя и сделала пять подскоков за раз.

Они подскакивали до конца квартала, где им надо было разойтись, и в лад ходьбе выдумывали желания.

— Через полчаса!— крикнула Галя у поворота.

— Ладно!— отозвалась Надя, и её короткое пальтишко скрылось за углом.

Это был уговор подруг — встретиться через полчаса, чтобы пойти на каток.

Галя с разбегу влетела в комнату и, крайне смущённая, остановилась на полдороге. Родионов считал на столе деньги. Перед ним лежала разворошённая груда тридцаток и несколько пачек, туго набитых сотенными. Тут, конечно, была не одна тысяча рублей.

— Коньки...— пробормотала Галя и угловато попятилась назад.

Через секунду она была на улице.

Небо всё так же роняет палочки и звёздочки, но Галя не замечает их. Взяв в руку горсть снега, и, смяв его, она кидает на дорогу, комок за комком. Снег охлаждает её горячую ладонь.

Вечером, лёжа в постели, Галя думала: «Если Леонид Петрович в самом деле скупой, то, значит, он притворщик.

Он, может быть, вот сейчас сидит у себя на корточках, раскладывает деньги и, может, как тот злой старик, о котором читала мама, шепчет: «Я царствую! Какой волшебный блеск!». Если так, то она, Галя, больше не любит его и не жалеет ни капельки. И Даше обязательно скажет, чтобы она никогда больше ничего не просила у него, раз он такой скупой».

На следующий день, выбрав удобное время, Галя зашла к Орешкиной в её комнатку. Орешкина сидела на чурбаке перед разгорающейся печью. Дрова пускали пузыри и по временам стреляли так громко, что разомлевший от тепла чёрный Мыр всякий раз испуганно вскидывал голову.

Пламя выхватывало из темноты кружевную накидку на розовой подушке, круглый коврик на полу, сплетённый из цветных тряпочек, стоптанные туфли и помятую кастрюльку под столом.

Орешкина вскипела, услышав о деньгах Родионова.

— Вот какой человек! — сказала она с сердцем. — Мне, значит, ни копейки не дал, а у самого денег куры не клюют. Ничего, я и без него не пропаду. Мне в профкоме пособие обещают. Все знают, как я живу и работаю. Из всех наших доноров я одна больше всех сдала крови.

— Ты донор? — переспросила Галя, оглядывая её щуплую фигуру.

— Ну, да, донор. Уж год, как донор. У меня кровь первой группы, самая здоровая — для всех людей. Я вчера из доноровского магазина сахару, масла топлёного — всего получила. Вон конфеты с медовой начинкой дали, — она потянулась к кульку, лежавшему на столе, и сунула Гале конфетку. — У меня всё есть, только денег не хватает. Видишь, в чём бегаю, — она показала на засаленный ватник, висевший на стене рядом с новым платьем.

Разгорячившись при воспоминании об отказе, она продолжала:

— И без его помощи прекрасно проживём. На фронте сколько хороших людей гибнет, не ему чета, а его никакой чёрт-дьявол не берёт. Скрипит, как сухое дерево. Ненавижу, таких скаредов!

Она умолкла так же внезапно, как вскипела и, плотно сжав тонкие губы, вперила неподвижный взгляд на зелёный клеёноччатый коврик, прибитый над кроватью.

Галя боялась смотреть на этот коврик, где была нарисована голая женщина с длинными до пят и чёрными, как сажа, волосами. Женщина лежала на боку среди озера, выкатив незрячее око из-под густой, надменно изогнутой брови. Вокруг неё, прямо из воды высывались розы, похожие на окровавленные клювы каких-то хищных птиц.

— Нет, нет, он вредный, скупой старикашка, — заговорила снова Орешкина, — он для близиру жмётся, чтобы его пожалели. Уж поверь мне, я знаю таких эвакуированных типов. Он зарабатывает — слава тебе, господи. Сын — тот хороший человек, а этот, как бурундук, всё тащит в свой тайник. Мы дураки, что получим — бряк-бряк, а он втихомолку, да втихомолку накапливает денежки. А потом спекулировать будет, как Приткин. Война, а у Приткиных растёт в дому.

Дочь беличью доху надела, сапожки. Откуда? Нет, на зарплату не заведёшь. Кому, видно, война, а кому — мать родна. А вот послать бы инспектора, пусть пощупает — они запрыгают...

— Мне надо уроки учить, — сказала Галя и, уходя, плотно прикрыла за собой дверь.

* * *

Задача была о двух резервуарах и одном насосе. Галя прочла её и тотчас заглянула в конец задачника, где были ответы. После того она мысленно прикинула, что надо перемножить и разделить, чтобы получилось искомое число. Умножение не составило никакого труда, но с делением произошла заминка. Числа никак не хотели делиться. Тогда Галя начала делить уже те числа, которые только что перемножила. И опять оказался остаток, явно указывающий на какое-то неблагополучие в порядке действий.

Галя отодвинула задачник. Привычным росчерком карандаша она нарисовала девочку, у которой были туфли на высоких каблуках, крошечный рот и ещё того меньше носик. Галя надела на неё шляпу с широкими полями и нарядное с высокими плечиками пальто.

Нарисовав домик с садиком, Галя отправила девочку в гости к одной знакомой тётке. «Здравствуйте, как выживаете?» — вежливо сказала Галина дочка. — «Ах, пожалуйста, присаживайтесь. Вот вам чашечка с молоком и с сахаром».

Тётя уже начала угощать Галину дочку мороженым, как с порога донеслись голоса матери и Родионова. Галя моментально придвинула к себе задачник, выразив усиленное внимание к резервуарам и насосу.

Мать подошла к столу. Увидев Галины как попало набросанные числа, она шумно вздохнула.

— Ну, кто же так решает! Ты, видно, ничего не поняла.

— Задача очень трудная. Резервуары какие-то...

Мать, нахмурясь, взялась за задачник. Карандаш быстро забегал по бумаге, вытягивал в линейку ряд аккуратно написанных цифр.

— Двадцать семь, — обронила Галя как бы про себя, заметив, что мать ищет ответ в задачнике.

Перечеркнув все свои вычисления, мать снова принялась решать. Наконец, она сказала: «Вот смотри!» — и начала объяснять Гале ход решения. Но Галя слушала невнимательно. Ей не терпелось переписать задачу к себе в тетрадь.

За вечерним чаем Наталья Ивановна сказала Родионову: — Решила задачку, а что в этом проку! Она сама должна была бы посидеть, подумать. Но где у неё время? Столько уроков задают на дом! Ей бы спать сейчас, а она, видите, зубрит...

Галя сидела у голландки на маленьком стулике. Зажав уши руками, она шёпотом повторяла что-то, взглядывая то и дело в раскрытый на коленях учебник.

Задумчиво посмотрев на девочку, Родионов сказал:

— Я учился в еврейской школе. Отец у меня был русский, а мать — еврейка. Мать захотела, чтобы я учился там. У нас были учителя. Умные учителя. Они знали, как воспитывать. Хорошо ответишь урок, учитель делает рукой вот так над моей головой, и на колени летит конфетка. С неба! Вы понимаете? Сейчас, конечно, это ни к чему. Но без поощрения никак нельзя. Ребёнок! Ему солнышко нужно, улыбка. Но вы не беспокойтесь за Галю. Научится и сама думать. И школа со временем придёт к своей настоящей точке. Будет то, что должно быть.

Выучив уроки, Галя подошла к матери и, несмело поправив сзади её немного распутившийся узел тёмных волос, обхватила за шею.

— Мама, ты не заругаешь меня? Нет, если я тебе что-то скажу?

Мать усмехнулась. Как же можно сказать наперёд, если не знаешь, о чём будет речь? Если что-то плохое сделала, то...

— Нет, что ты! Хорошее, очень даже хорошее...

И Галя быстро-быстро, чтобы мать не успела прервать её на середине, сказала:

— Сегодня классная руководительница говорила, что надо больше помогать Красной Армии, и записывала всех мам и бабушек, которые могут шить бельё. Рубашки, кальсоны...

— И ты записала?

— Ну да. Ты же умеешь шить на машине.

— Галька, да ты что... Я никогда и не шила из нового, а кроить совсем не умею.

— Мама, там всё готовое, уже скроёно, нитки дадут.

— А тебе пальто? У меня же на очереди это дело.

— Потом. Я в старом пробегаю. Mamочка! Ну, мамочка...

Мать рассмеялась.

— Что с тобой сделаешь? Уж сошью. Мне самой хочется.

Галя захлопала в ладоши и долго после того, весело

напевая, кружилась по комнате. Родионов с улыбкой посматривал на неё.

— Я думал, ты девочка с судками, а ты оказывается, поёшь и пляшешь. Всё по детству. Хорошо!

Мать порылась в своём портфеле и подала Родионову толстую тетрадь в чёрной клеёнке и с красным обрезом.

— Прочла, Леонид Петрович. Хорошо, на мой взгляд.

Он всколыхнулся. Краска смущения и удовольствия залила его серые бритые щеки.

— Значит, одобряете? Можно подавать в этом виде?

— Да! Вот вам новое перо, бумага. Присаживайтесь к нашему столу. Здесь светлее.

Родионов засуетился. Галя с любопытством следила за ним. Что такое собирается Леонид Петрович списывать из этой толстой клеёнчатой тетради? Старик писал как на экзаме-
замене. Осторожно придвигал к себе листок бумаги и, прежде чем опустить ручку, оглядывал перо, опасаясь кляксы.

— Дайте-ка, я погляжу. Нет ли ошибок? — сказала Галя с самым невинным видом.

— Сядь в сторонку, — приказала мать.

Галя отошла. Но её так и подмывало взглянуть хоть одним глазком на листок, который Родионов записал с обеих сторон и в конце расписался, чётко и твёрдо с небольшим росчерком внизу.

Любопытство Гали ещё больше разгорелось спустя несколько дней, когда она, придя из школы, увидела дома мать и Родионова, о чём-то оживлённо беседующих между собой.

— А я, вы понимаете, сию дурак дураком. Растерялся. Они обо мне говорят и то, и другое... Потом в конце собрания секретарь райкома подошёл и пожал мне руку...

— Он с вами поздоровался? — спросила Галя, догадавшись, что собрание и пожатие руки имеют прямое касательство к тому загадочному заявлению.

Родионов рассмеялся.

— Ой, милая ты моя, дорогая! Да как ей хочется всё уз-
нать! Обожди немножко. Сам всё расскажу. А теперь, — он сделал строгое лицо, — тайна, тайна, тайна!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Весь день летел пушистый искрящийся снег. И от снега, ослепительно чистого, было нестерпимо светло в комнате до самого вечера.

Сияние заходящего солнца падало на Галю, сидевшую у окна, и веер тёплых ослепительных лучей замыкал её со всех сторон. Она была в солнечном домике.

В комнату вошла Федосья Степановна. У неё было дело к Гале: не найдётся ли соли, щепотки две.

— Пожалуйста.

Пока Галья отсыпала на бумажку грудку крупнозернистой зеленоватой соли, Федосья Степановна расспрашивала про отца, часто ли он пишет письма, где воюет, затем заговорила о своём сыне Косте, тоже ушедшем на фронт, и, прощаясь, сказала проникновенным голосом, уставившись в пустой передний угол:

— Закрой их, господи, от всякого злодея, от всякого лихоеда, от огня и пламя, от тучи грозной, от пули военной на поле боя.

Для Гали все молитвы мало понятны и неинтересны, но эту она слушает со странным замиранием в сердце. Ей кажется, что слова эти, похожие на стихи, защитят отца.

Задумавшись, Галья идёт обратно к окну, в солнечный домик. Но его уже нет. Потускнел снег, поглубели и затуманились стёкла. Во дворе засновали люди. Галин час тишины кончился.

Вечером, когда все были дома, кто-то громко постучал в дверь. Незнакомая женщина показалась в полумраке передней.

— Родионов здесь проживает? — спросила она, и что-то особенное прозвучало в её голосе.

— Здесь, здесь.

— Правительственная телеграмма!

Женщина вытянулась у порога, прямая, строгая, держа в руках широкую, в переплёте книгу.

— Девять часов двадцать минут, — сказала она, подавая Родионову карандаш.

Он поблагодарил её и, не глядя ни на кого, устремился к себе. Спустя секунду он вскрикнул, зашелестел бумагой и с необыкновенно сияющим лицом подбежал к Наталье Ивановне.

— Смотрите! Мне!

Это была обычная на вид телеграмма: обыкновенная бумага с наклеенными полосками машинописных слов, вверху обычный ряд каких-то цифр. Но на этой телеграмме стояла надпись «Сталин» и слова: «Примите, Леонид Петрович;

привет и благодарность Красной Армии за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии».

— О! — Галя, запрыгав, закричала: — Радость, радость!

— Тише! — остановил её Родионов, указывая на перегородку, за которой спала Орешкина.

Галя понимающе кивнула головой. Тайна! Теперь она раскрылась перед ней полностью. Галя знала, что писал Родионов в том таинственном заявлении, почему отказал Орешкиной, как скопилась у него такая уйма денег. Пятнадцать, целых пятнадцать тысяч отдал он Красной Армии!

Родионов рассказал всё, как было. Мысль пожертвовать эту сумму зародилась у него в то утро, когда он стоял вместе с Галей перед корпусами неведомого завода. Вбить свой гвоздь — на этом желании сосредоточились все его помыслы и усилия. Он перепланировал рабочий день, чтобы успеть сделать как можно больше и быстрее. Превозмогая усталость, до полуночи засиживался в мастерской, боясь лишь одного, чтобы не вышел из строя его «рабочий глаз». Во всём урезывая расходы, экономя где только можно, он позволил себе только раз за зиму сходить в театр. Пьеса «Давным-давно» про девушку-героиню 1812 года взбудоражила его. Дорогой он думал: «Вот так и надо действовать. Я слишком медлю. Собираю по крупинкам. Так, пожалуй, протянется до самого лета. А время не ждёт». Тогда-то он и решил снести на рынок самое ценное из вещей — костюм и патефон.

Галя не спускала с Родионова восхищённого взгляда. Вот человек! Замечательно, что он сделал. Необыкновенно замечательно! Только грустно немножко, что теперь уже не заведёшь любимую пластинку. Всё-таки очень жаль патефона...

— Для Родины ничего не надо жалеть, — возбуждённо, взмахнув рукой, сказал Родионов. — Нет нам жизни без неё. Никому! Только бы коршуна сбросить с тела. Всё, всё восставим, всё воскресим краше прежнего!

Обратившись к Наталье Ивановне, он произнёс тихо:

— Супруга у меня слабого здоровья. Сердце! Соня, та крепкая, но уж очень горячая. За неё боюсь. И об Юлечке скорбит душа...

— А ей завтра можно сказать? — шёпотом спросила Галя, беспокоясь о том, что Орешкина спит себе, похрапывает спозаранку и ничего, ровно ничего не знает о телеграмме.

Родионов на мгновение задумался.

— Пока не надо. К слову, если придётся. Что смотришь на меня, Галинка? Смешной дед?

Он взглянул на часы.

— Теперь до утра не засну. Бурлит,— он показал на сердце.— Сейчас скажи мне: наколи сажень дров — наколю! Радость исхода требует...

Он ушёл и, сгорбившись, присел на свою кровать, держа перед собой телеграмму.

От высокой спинки дивана падала тень на его седую голову, и едва ли, хоть одно слово он различал в телеграмме. Он просто держал её в руках.

В ПОЗДНИЙ ЧАС

Галя лежала в постели, не зная, как унять свои вдосталь порабатавшие за день ноги; Родионов, внезапно почувствовав смертельную усталость, собирался скидывать ботинки, и Наталья Ивановна намеревалась тоже лечь, когда репродуктор громко и многозначительно произнес:

— Внимание, внимание!

— Вот! — вскричал Родионов, вскакивая.

Он как будто знал, что именно сегодня раздастся это слово — торжественный сигнал о приближающемся вестнике нашей победы, сигнал привычный для второй военной зимы.

Начало, произнесённое диктором, уже тоном своим возвещало о крупной победе Красной Армии.

— Город Краснодар,— отчеканил диктор торжествующе, не скрывая радости.

— Город Шахты,— продолжил он тем же ликующим голосом.

— Крупный железнодорожный узел Красноармейское,— провозгласил он и, не ослабляя ликования, заключил:— Заняли также город Ворошиловск.

При каждом названии Леонид Петрович вскрикивал и возбуждённо потирал руки:

— Ой, победа! Ой, победа!

Затем с карандашом в руке он припал к географической карте, на которой уже во многих местах были красные пятна.

— Здорово, здорово! Ах, чёрт возьми, как здорово! — восклицал он и размашисто закрашивал объявленный город.

— Подождите, подождите,— со смехом останавливала Наталья Ивановна, стоя за его спиной тоже с красным карандашом в руке.— Вы мне хоть один город оставьте. И куда вы потянулись так далеко?

— Всё, всё будет наше! И Харьков, и Минск, и Севастополь — всё отберём обратно! — говорил он, сверкая глазами.

— Вы к Рославлю, я смотрю, прямую дорогу проторили,— рассмеялась Наталья Ивановна.

— Всё наше, всё будет наше,— повторял он.

Орешкина, проснувшись от громких голосов, спросила Наталью Ивановну: «Что взяли?»

Галя, опережая мать, выкрикнула:

— Четыре города! Красота!

— Теперь Гитлеру капут. Это Сталинград угробил его,— радостно откликнулась Орешкина.

Родионов, беспрестанно оборачиваясь к Наталье Ивановне, чтобы сообщить ей свои соображения, продолжал закрашивать карту.

Припоминая, что было взято в прошлые дни и что не успел тогда отметить, он торопливо махал карандашом по карте. Казалось, он сам, своими руками, освобождал из-под гнёта эти искони русские места и сейчас спешил закрепить их за Родиной.

Не зная как выразить свою радость, он схватил лежавшую на столе телеграмму и, взмахнув ею, сказал громко, не скрывая гордости:

— Леонид Петрович тоже содействовал победе!

И Галя, высунув голову из спальни, тотчас отозвалась в ответ:

— Точно!

Родионов рассмеялся.

— Ты всё ещё не спишь! Коза ты, коза бессонная...

Разговор о делах на фронте продолжался ещё долго. Теперь речь шла уже о том, как разовьются военные действия в ближайшее время. Стоя у карты, с воодушевлением размахивая карандашом, как указкой, Родионов смело и категорически высказывал свои догадки:

— Теперь я скажу, что мы возьмём. В первую голову освободим Харьков. Да, да! Потом — Запорожье! Да, да!

И убеждённо закончил:

— Я вам скажу: хороши полководцы, но хороши и солдаты!

— Точно! — немедленно подтвердила Галя.

ЧЁРНЫЙ ДЫМ

К концу подходили контрольные работы. Гадя волновалась в ожидании экзаменов.

За окном сияло голубое, как в июле, небо. Черёмуха и си-

рень стояли в полном цвету. И огородники, как прошедшей весной, проворно налаживали гряды.

Галя время от времени кидала в окно невидящий затуманенный взгляд и, поспешно обратившись к учебнику, начинала читать громкой скороговоркой. Покончив с последним билетом, она запела, ударяя в такт обеими руками:

Пропал или пан,
Будем бить в барабан!

А наутро упавшим голосом сообщила Наде Кузнецовой:

— Я ничего не знаю. У меня всё вылетело из головы.

— У меня тоже.

Раскачивая в лад руки, они вскрикивали всю дорогу, до самой школы:

— Ой, страшно! Ой, страшно!

Однако первый экзамен Галя сдала на «отлично». А дальше пошло уже гораздо спокойней и уверенней. Наконец, табель в руках, и вот перед ней желанная строчка: «Переводится в пятый класс. Ударница». Слышишь, папа, я ударница!

...Тучи собирались с утра, но лишь после полудня наладился дождь — редкий, косой, сверкающий под солнцем. Галя нарочно шла с непокрытой головой, чтобы закурчавились волосы. Шла и размышляла о только что просмотренной кинокартине. Вот какой отважный и ловкий этот Антоша Рыбкин! Один перестрелял почти весь немецкий отряд и забрал всё их оружие. Смотреть такую картину было несколько не страшно, а даже весело.

Привычным движением Галя повернула ключ в замке своей квартиры. Дверь почему-то оказалась не запертой, хотя в этот час дом обычно пустовал. С трепетом Галя переступила порог и отшатнулась: чёрный дым застилал переднюю. В густой пелене, заволакивающей кухню, неясно обозначалась фигура Родионова. Он что-то жарил на плите. Удушливый чад, нестерпимо пахнувший подсолнечным маслом, клубами валил оттуда.

Галя испуганно повернула обратно и чуть не налетела на Орешкину, поднимавшуюся в эту минуту на крыльцо. Увидев дым, Орешкина пронзительно закричала:

— Что это за безобразие! В свою квартиру нельзя войти...

С воинственным видом она двинулась было в кухню, но, задохнувшись, попятилась назад.

— Вы оглохли, что ли! Я сейчас коменданта приведу.

Согнувшись над плитой, Родионов продолжал ворочать что-то с лихорадочной торопливостью.

— Вот какой вредный человек! Слышит и не хочет отвечать,— с ожесточением проговорила Орешкина и неистово застучала кулаком по кухонной створке.

Над плитой вдруг взвилось ярко-синее кольцо пламени, и чёрный фонтан чада, мгновенно застлав всё вокруг, взметнулся до потолка. Орешкина смолкла. В наступившей тишине было слышно тяжёлое урчание масла.

— Он, может, с ума сошёл,— сказала Орешкина уже беззлобно.

Внезапно из дымовой завесы высунулась седая всклокоченная голова, и, приблизившись к Орешкиной чуть не вплотную, Родионов прокричал ей что-то короткое и непонятное дрожащим плачущим голосом. Орешкина опрометью кинулась вон из дома.

На улице уже вовсю шумел дождь. Временами он затихал, потом обрушивался с новой силой, отскакивая от крыш мелкой пылью. Галя, зябко вздрагивая, стояла у полураскрытых дверей. Что делать сейчас, она не знала.

Осторожно Галя выглянула из-за косяка. Родионов торопливо перекаладывал со сковородки коричневые, блестящие от масла пирожки.

Дым между тем заметно спадал и полз в сени сизой широкой лентой. Потом потекла бледная тонкая струйка. Минут пять спустя в дверях появился Родионов в пальто и шляпе. В руках его была корзинка, накрытая клеёнкой. Не заметив Гали, он проскочил мимо неё и, подняв воротник, быстрым шагом направился к калитке.

В кухне ещё плавал тяжёлый чад, когда Галя зашла туда. На голом столике Родионова лежали пустые тарелки. На кровати валялась рубашка и на полу раскрытый чемодан. Никогда, даже после большой стряпни, Леонид Петрович не оставлял вещи в таком беспорядке.

— Очень, очень удивительно,— вслух произнесла Галя,— жарил, жарил и всё куда-то унёс. И ушел в самый ливень. Неужели он...

— Его нет? — спросила, входя, Орешкина, вся промокшая, но весёлая. — Что он жарил-то?

Галя с неохотой рассказала о том, что было после её бегства.

— Вот видишь. Я говорила, что он спятил. Так и есть.

— Из чего это вы заключаете? — насмешливо сказала

Галя, переходя на «вы». — Он, если хотите знать, был совершенно нормальный и вчера даже весёлый.

— Ну, значит, на базар побежал пирожки продавать, — решила Орешкина.

— В ливень-то? Вот придумала! Да на базаре совсем пирожки и не продают.

— Вот ты, Галья, какая спорщица, — уже начиная сердиться, сказала Орешкина. — Как это не продают?! В прошлый раз я студень купила. Всё там есть. Он скупущий старик. Ему всё больше и больше надо.

— Ты так думаешь?

— А что? Не правда, что ли? Я ему и в лицо брякну: скряга, хитрец!

— Ты ничего не знаешь, ты ровнёшенько ничего не знаешь, — убеждённо сказала Галя и залпом выпалила тайну Родионова.

Она сказала ей всё: как сэкономил Леонид Петрович деньги, за сколько продал свой костюм и патефон, как пожал ему руку секретарь райкома партии и, наконец, что было написано в правительственной телеграмме и что сказала женщина-почтальон.

— Пятнадцать тысяч на танк? И от самого Сталина благодарность?!

— Да, да, да, — повторила Галя.

Уверившись в истине, Орешкина воскликнула:

— Вот безобразие, какой старик!

В этом возгласе прозвучали на этот раз зависть и невольное восхищение.

Удивляясь, переспрашивая, Орешкина некоторое время говорила о Родионове без привычного недоброжелательства. Она готова была уже признать его добрым и нехитрым человеком.

— Так вот почему он мне не дал денег, — раздумчиво протянула она. Помолчав, сказала с укором: — Ты была в курсе дела, могла бы мне и раньше сказать, в тот же день.

Галя смущённо пробормотала:

— Я хотела, но он сказал: «Пока не надо».

Орешкина внезапно вскипела:

— Ишь, какой вредный! Всем, значит, можно, а мне — «пока». «Содействовал победе», — голосом Родионова произнесла она. — Да, думаешь, он один содействует победе?

— Я ничего не говорю, — пролепетала Галя.

— Ну, вот! И молчи! Все содействуют победе. Весь народ!

Пусть он не ставит себя выше облаков. Я, может быть, больше его содействую против Гитлера. Да не хвастаюсь, не бегаю по райкомам. Кровь, если хочешь знать, дороже всяких денег. Я полтора литра уже отдала и ещё отдам. Мне не жалко для фронта. Полтора литра! А во мне всего-навсего три литра с четвертью.

— Ой!

— А вот и «ой!» Спроси хоть кого. Все знают, сколько в человеке крови.

Вскипев, Орешкина могла одно и тоже повторять до бесконечности.

Гале стало скучно, она ушла.

УДАР

В суете и забавах летних дней в памяти Галя постепенно стало сглаживаться кухонное происшествие. Но и в короткие забеги домой она заметила, однако, что Родионов круто переменялся с той поры.

Он перестал готовить обед. С работы возвращался около полуночи. Утром брал чемоданчик с инструментом и молча удалялся, не захватив даже термоса. Когда мать предлагала ему чаю, он, полузакрыв глаза, глухо говорил: «Благодарю вас», — и спешил уйти. Он начал курить и по ночам мучительно долго кашлял.

Галю особенно поразило то, что теперь он всегда ходил с полузакрытыми глазами. Говорил ли с кем, шёл ли по комнате или по улице, его тёмные веки были опущены, он как будто не хотел смотреть на мир.

Однажды Галя увидала его на дворе. Он едва волочил ноги. Седая щетина обрамляла его серые впавшие щеки.

Подождав, когда он зайдёт в квартиру, Галя прильнула к окну, откуда была видна его половина комнаты. Он сидел, уронив голову на столик, и плечи его вздрагивали.

Вечером Галя сказала, бросаясь к матери:

— Ой, мама! Если бы ты видела, как он плакал. Спроси его, что с ним...

Наталья Ивановна промолчала. Ей было известно, что случилось с Родионовым, но она не говорила дочери, не желая омрачать её каникул.

В тот самый день, когда произошёл переполох в кухне, Родионова известили, что его сын, раненный, лежит в санитарном поезде, только что прибывшем на станцию. Поезд делал здесь

остановку и вечером должен был двинуться дальше на восток, в один из сибирских городов.

Родионов отпросился с работы. Ему хотелось успеть нажарить пирожков и угостить сына. В его распоряжении было часа четыре, не больше. Он замешивал тесто и плакал от радости и печали. От нетерпения всё падало у него из рук и не ладилось: мясорубка не провёртывала мясо, тесто липло к рукам, масло горело. В страшном волнении метался он у плиты, хватая сковородку голыми руками и поливая масло, куда попало...

До станции он все же добрался за час до отхода поезда. Саша обрадовался отцу до слёз. У него было пробито плечо и осколком задета нога, но чувствовал он себя бодро. Мясные пирожки были встречены общим одобрительным гулом. В конце свидания заговорили о Рославле: как там, что слышно. Саша отвёл глаза в сторону. О судьбе семьи он уже знал. На фронте случайно повстречал двух знакомых рославльских женщин, побывавших в оккупации. То немногое, что сообщили они, было ужасно. Мать в прошлом году умерла от истощения. Сестру угнали в Германию. Юлечку приютили дальние родственники.

Все эти подробности Наталья Ивановна узнала от тётки Оли, которая в тот день была у Саши в вагоне. Тётя Оля видела, как старик, простонав, закрыл лицо обеими руками и, весь сжавшись, словно его придавил груз невыносимой тяжести, просидел так минут десять, не шевелясь и не говоря ни слова. Дорогой тётя Оля пробовала его утешать. Он точно закаменел — ни слова, ни жеста в ответ. Поняв, что ему нужно побыть одному, она отошла.

Старик оставался один и сейчас. Несколько раз Наталья Ивановна пыталась подойти к нему, чем-то утешить, приободрить, рассеять его душевную муку, — он ни на что не отзывался. Слова не доходили до него. К жизни мог бы вызвать отъезд на родину, к Юлечке. Но об этом ещё рано было думать.

Мог бы помочь Саша... Для отца он был единственной отрадой и гордостью. «Сын у меня архитектор», — не раз говорил старик прежде и добавлял: «Проект недавно опять разработал, утвердили без единого замечания. Очень его ценят».

В памяти Натальи Ивановны всплыло красивое молодое лицо Саши, его насмешливые блестящие глаза.

С ним не так трудна была первая военная зима.

Он колод дрова и, вспотев, говорил: «Где же ваши знаменитые уральские морозы?» Он приносил воду и, вылив её в

кадку, весело спрашивал: «Куда ещё?» И пять градусов тепла в комнате, и печальную мигалку на столе, и скудный ужин — он всё облегчал шуткой, смехом, неожиданной выдумкой.

Наталья Ивановна не раз намеревалась написать Саше о состоянии Леонида Петровича, но, пораздумав, опускала перо. Саша болен, к чему его тревожить?

Жизнь пока не подсказывала ни одного средства.

Родионов явился в этот день поздно. Когда он присел к своему узкому столу, Наталья Ивановна сказала:

— Леонид Петрович, извините меня, но вы себя губите. Я очень вам сочувствую. Но живому надо думать о живом.

— А! — он болезненно сморщился. — Что я? Кому нужен? У меня ничего не осталось, — глухо произнёс он и поспешно удалился.

Ночью в постели Галя шёпотом спросила лежавшую с ней рядом мать:

— Дядю Сашу ранили, да?

— Да, но ничего опасного у него нет. Леонид Петрович угнетён совсем другим. Я расскажу тебе завтра. А сейчас спи.

Но Галя не могла спать. Она хотела узнать именно сейчас, сию минуту и не хотела ждать до утра.

Наталья Ивановна в конце концов сдалась.

— Видишь, какое у него горе. Была семья — не стало семьи, — сказала она, закончив рассказ.

— А он может умереть?

— Старый человек. Если бы хоть он питался как следует, а то... Не знаю, чем он и жив.

Галя долго молчала. Потом сказала вдруг:

— Если завтра сварить мясной суп? У нас ведь есть немного мяса.

— Ну?

— Какая ты, мама, непонятливая. Он забыл, ты понимаешь, он забыл, какой бывает суп. Он поест и вспомнит и будет сам варить.

— Галька, ты глупышка. У него горе, ты пойми, страшное горе. Что ему наш суп?

— Нет, мама, ты не говори. Помнишь, я была больна. Я ничего не хотела. Ты мне сварила рыбный супик, такой вкусный-вкусный, я попробовала и съела всю тарелку.

— Ах, это совсем не то, — уже с досадой сказала мать. — Спи!

— Нет, мама, подожди. Я не хочу спать. Давай завтра сварим.



— У меня завтра собрание. Я приду очень поздно.

— Я! Я сварю суп, какой хочешь. Мамочка, я сварю... милая, я знаю, я видела, как ты варила.

Она упраскивала мать до тех пор, пока та устало не проронила:

— Делай, что хочешь...

ПЕРВЫЙ СУП

Наутро Галя встала раньше всех. Не скрывая удовольствия, она проводила на работу Родионова и мать. «Скорее, скорее!»,— думала Галя, нетерпеливо ожидая, когда останется совсем одна.

Наконец, с большим тощим портфелем вышла в переднюю Орешкина.

— Опоздала?

— Ничего не опоздала, успею.

Орешкина с сумрачным лицом завязывала красной тряпочкой колечки на дверях своей комнатки.

— А я сегодня мясной суп буду варить для Леонида Петровича,— сказала Галя.

Орешкина неодобрительно фыркнула:

— Вот припала забота о ком. Он сам может сварить. Живёт лучше нашего.

— Ничего ты не знаешь. Он самый несчастный человек. Он всех несчастнее, если хочешь знать.

И горячо, спеша выложить всё сразу, Галя рассказала, какое горе постигло Родионова.

Орешкина от неожиданности даже уронила портфель.

— Ой, безобразие! И жена, говоришь, умерла? Теперь он что? Он жену-то любил, называл её, помнишь, супругой. Сколь Гитлер горя принёс! Мало ему петли. Так ты суп будешь варить?.. Подожди!

Орешкина развязала красную тряпочку на дверях и, повозившись в комнате, вынесла стакан суфле и головку луку.

— Дай ему. А лук, смотри, сперва на масле поджарь, потом в суп. В луке витамины.

Она ушла, бормоча свое привычное присловье: «Ой, безобразие».

Галя подпрыгнула от радости и принялась за дело. Тонкие длинные ноги носили её, как птицу крылья,— из комнаты в кухню и обратно. За ней неотступно следовал чёрный Мыр. Почуввав мясо, он возбуждённо мурлыкал и судорожно поднимал хвост.

— Обожди,— строго сказала Галя, разглядывая кусок мяса, из которого торчала ноздреватая толстая кость.

Мыр нетерпеливо ткнул в её руку твёрдым лбом. Пушистый чёрный хвост его так и подёргивался судорогой, пробегавшей, как электрический ток, до самого твёрдого кончика.

Повертев мясо, Галя вырезала из него мягкий кусочек. Мыр проглотил его в один миг и, облизываясь, снова уселся возле кастрюли, не сводя с хозяйки хмурого требовательного взгляда.

Видя, что Галя не обращает на него внимания, он робко, мягким движением лапы коснулся мяса, лежавшего на тарелке.

— Не торопись! Надо сдерживать себя. Ты думаешь, я не хочу есть? Очень хочу. Но я не буду глотать сырое мясо. Так делают только дикари.

Мыр убрал лапу. Немного погодя он вновь дотронулся до заманчивого куска.

— Хорошо, я тебе дам, но ты больше не проси.

И Галя отрезала ему жилистый кусочек, не очень большой, но и не очень маленький. Однако меньше чем через секунду на неё уставились те же требовательные и ожидающие глаза.

— Уже?!

Схватив кастрюлю, Галя побежала к плите. Мыр, опередив её, сидел уже тут как тут.

Галя в раздумье стояла перед кастрюлей. Неотступный сверкающий взгляд Мыра мешал ей вспомнить, когда надо сыпать манную крупу — сейчас или после того, как вскипит вода.

— Как тебе не стыдно просить? — с укором проговорила она, высыпая крупу в холодную воду. — У тебя даже детей никаких нет.

С насупленным видом Мыр выслушал справедливый упрёк, но не отвёл своего взгляда. Раза два Галя нарочно вставала спиной к нему, затем тихонько вполоборота оборачивалась назад и всякий раз с неприятным удивлением убеждалась, что Мыр всё так же упорно и выжидающе следит за ней немигающими зелёными глазами.

— Ты шпион!..

Галя вынула из кастрюли мясо и отрезала ему кусочек не очень большой, но и не очень маленький. Мыр успокоился.

Суп уже закипал на таганке, вздымая жёлтую пену и коричневые лепестки лука. Пламя охватывало кастрюлю со всех сторон. Все было, как у мамы.

С удовлетворённым видом хорошо потрудившейся хозяйки Галя вышла на крыльцо, озирая зелёный, залитый солнцем двор.

На лужайке, вдоль грядки цветущих маков, скакала на одной ножке внучка Федосьи Степановны, семилетняя синеглазая девочка, которую все звали Раечкой. По дорожке важно шагала, заложив руки за спину, её братишка Эдик в новенькой гимнастёрке с золотыми погонами. На тополях весело перепархивали с ветки на ветку толстые воробьи.

Гале хорошо, спокойно, ей даже не хочется поскакать на одной ноге.

...Наморщив лоб, Галя помешивает свой суп. Какой неприятный у него вид! В мутной воде, точно медузы, скользят студенистые комья, поверху чёрными жуками плавают зерна перца.

— Очень пустынный суп,— говорит она вслух.— И жиринок совсем мало.

Лениво потягиваясь, встаёт с подстилки чёрный Мыр. Он выпался и сейчас не прочь ещё перекусить.

Галя наливает ему немного супу. Мыр осторожно пробует. Он берёт одну каплю в рот, секунду размышляет: «Что это?»— и отходит. Галя нагибает его усатую морду прямо в суп.

— Ешь, ешь, ты просил...

Но он с неожиданной силой напружинивает свою упрямую шею и решительно отворачивается.

Такой отпор кота действует на Галю удручающе. Она долгое время сидит у окна, не шевелясь.

Кто-то зашёл в сени и открывает дверь. Это мать тёти Оли. В руках у неё тяжёлая кошёлка. Старушка давно не бывала у Уваровых: лежала в больнице. Только вчера выписалась оттуда. Вот выкупила кое-что по карточкам, зашла проведать, как живётся, Леонид Петрович как себя чувствует? Оля рассказывала, какое горе постигло беднягу.

— А ты, Галечка, что такая пасмурная? Не карточки ли потеряла?

Галя, опустив глаза, рассказывает ей о своих делах.

— Дай-ка ложечку, попробую. Гм, в самом деле, пустынный,— в раздумье произносит старушка, проглотив немного супу и сморщившись.— Что же бы тебе посоветовать? Погоди, дружок, не вешай голову. Разве это беда?

Порывшись у себя в кошёлке, старушка вытаскивает кулёк с лапшой.

— Сейчас всё исправим. С кем не бывает ошибки. Манку выловим. Она ни к чему. Лапшички спустим. Лучку ещё поджарим на маслице. Голь на выдумки хитра.

Гале стыдно и смешно. Смущённо улыбаясь, следит она за тем, как старушка проворно хлопочет возле кастрюли, шепча что-то про себя, словно волшебница.

— Ну, вышли из положения. Пусть ещё минут двадцать побурлит и потом ослабь огонь — не подкладывай больше щепок. А я домой побегу. Передавай привет маме и Леониду Петровичу. Мы с Олей как-нибудь заглянем на днях, — у порога старушка останавливается. Обернувшись, говорит со вздохом: — Оля-то у меня что задумала... Бросать хочет музей. Как провела Сашу в санитарном поезде, так решила: «Пойду и пойду в госпиталь!» Заявление уж туда подала. Я молчу. Пусть идёт. Сердце хоть немного поуспокоится. Только уж очень жалко её... Ей ли быть санитаркой...

Старушка ушла.

В шесть с половиной, как обычно, явился Родионов. Молча прошёл к себе. Поверх дивана показалась его спина, затем скрылась, и стало тихо, как будто его не было совсем. Весь сжавшись, тесно сомкнув ладони над лицом, он сидел в углу. Одиночеством и глубокой заброшенностью веяло от его согнувшегося, точно застывшего тела.

С щемящим чувством Галя выбежала на улицу и, заведя на углу мать, помчалась навстречу.

За короткий переход до дому она успела рассказать лишь о том, как дрожал от жадности чёрный хвост Мыра и как он не стал есть суп.

В кухне Галя потянула носом — ах, как вкусно! — и вопросительно посмотрела на мать, показывая на кастрюлю, где, урча, тяжело ворочалась разбухшая лапша.

С сосредоточенным, красным от возбуждения лицом Галя налила полную до краёв тарелку и, держа обеими руками, направилась к Родионову.

— Леонид Петрович!

Родионов встрепенулся. С недоумением, почти испугом, он взглянул на Галю и на тарелку.

— Вот мы сварили... пожалуйста, покушайте.

Старик вскочил с места. Несколько мгновений он молчал, растерянно одёргивая пиджак:

— Благодарю вас, но я сыт...

— Но вы же ослабели. Вам надо горячее. У вас даже ноги плохо ходят. Вы обязательно скушайте. Это очень питательно.

Галя поставила тарелку на стол и остановилась в проходе. Ища поддержки, она опять оглянулась на мать.

— Леонид Петрович! — громко, с чрезмерным оживлением в голосе, сказала Наталья Ивановна. — От этого супа отказываться никак нельзя. Галя варила его специально для вас. Это первый её суп и к тому же мясной.

— Совсем не суп, а лапша, — сконфуженно пролепетала Галя.

Родионов молчал. Губы его дрожали. Он силился что-то вымолвить и не мог.

— Ой, суфле-то я забыла, — Галя метнулась к столу. — Это вам Даша.

Наутро Родионов в первый раз после длительного перерыва побрился и налил кипятку в термос. Какое-то новое выражение появилось на его исхудалом лице. Он походил на человека, только что вставшего после долгой изнурительной болезни.

Выпив чай, он подошёл к Наталье Ивановне.

— Эту ночь я не спал совсем, — негромко сказал он. — Не мог. Думаю, Юлечка ждёт меня не дожждётся... Саша... Вернётся Сонечка... Что же я делаю с собой? Горе задушит насмерть, если я... Ведь я жив ещё, могу работать, я нужен ещё. И здесь я не один...

Родионов крепко стиснул руку Натальи Ивановны и, перекинув через плечо термос, поспешно вышел.

ОПЯТЬ ВМЕСТЕ

Галя и Надя Кузнецова дежурили на перекрёстке двух тропинок и пристально всматривались в дальний конец заднего двора. Там, на небольшой площадке, зажатой со всех сторон картофельной зеленью, происходило сражение между двумя боевыми отрядами Димы Колосова и Алёшки Приткина. Было видно, как в яростном взмахе скрещивались деревянные шпаги, как натыкались они на фанерные щиты и, отскочив, опять скрещивались.

«Убитые» падали плашмя на спину, раскинув руки, как васнецовские былинные богатыри. Прележав секунду-другую на влажной после дождя земле, они неловко перевортывались на грудь и, как ящерики, быстро перебирая ногами, скатывались по склону, волоча за собой шпагу и щит.

Галя и Надя в нетерпении кричали им:

— Сюда, сюда!

Они были дежурными полевого санитарного пропускника. Только пройдя через их обработку, «убитый» получал право вернуться на поле сражения.

Процедура санобработки была несложной.

— Имя, фамилия?— повелительно спрашивала Галя и, пока «убитый», оторопев, собирался с духом, ловкие девчончьи руки отгибали ворот рубашки и звонко хлопали по шее. Надя в это время энергичным рывком выворачивала мальчишечьи карманы, набитые пустыми гильзами, железками и всяким мусором.

В работе санпропускника наступила короткая передышка. Видя, что дежурные без работы, к ним несмело приблизился Эдик Назаров с длинной, до самой земли, деревянной шпагой. Дежурные «обрабатывали» его честь по чести. Затем легонечко теребнули за золотистый мягкий хохолок и с небрежной снисходительностью оттолкнули от себя. Эдик остался очень доволен.

— Вон Ася,— Надя чуть заметно повела плечом в сторону дорожки, где двигалось голубое платье.

Галя метнула туда быстрый взгляд и отвернулась.

— Ты знаешь, что Ирма в санаторий уехала?— сказала Надя.

— Да? — переспросила Галя и замолчала.— Куда, куда? — закричала она, увидев вдали «убитого», который удирал в сторону от санпропускника, и помчалась ему наперерез. Когда вернулась, Ася стояла около Нади и с рассеянным видом обрывала с кустиков калачика несозревшие семечки.

— Ляпа!— Галя хлопнула Надю по руке, и они обе вприпрыжку поскакали к дому.

У крыльца Галя перевела дыхание. Угол дома скрывал Асю. Идёт она сюда или нет? Идёт! Это её шаги по дорожке — чуть слышные, с перерывами. Вот и она. Голые ноги в продранных тапках, короткое, до коленок, платье.

— Ты куда?

Ася приостановилась. Сбивая носком камешек перед собой, она сказала, чуть приподняв голову:

— Ты ведь на меня сердишься...

— Я не сержусь, но ты сама не хочешь...

— Я хочу и всегда хотела,— быстро проговорила Ася и, вынув из кармана кучку голубых бус, произнесла прежним доверчивым тоном:— Хорошенькие, правда? Мне дала одна девочка.

— У меня много новых открыток. Ты ещё не видала,— сказала Галя.— И ещё что-то есть, очень интересное...

Знакомое радостное оживление блеснуло в глазах Аси. Она хотела видеть всё — новое и старое.

Галя вынесла на крыльцо все свои сокровенные запасы.

— Погляди, что мама мне принесла,— сказала она раскрывая альбом с марками.

— Покажи, покажи. Ой, Зоя Космодемьянская!

Потом Галя показала Асе стопку глянцевых кадров из кинолент с изображением знаменитых артистов и самую большую свою ценность — коллекцию уральских камней.

— Вот это слюда, вот кварц с золотишками, а это в чашечке с водой — калийная соль. Лизни-ка её. Солёная, правда? Она очень любит воду. За ночь выпивает всю эту чашечку. А вот самое чудесное-пречудесное...

Галя подала Асе овальный, как яйцо, окатыш горного хрусталя. Окатыш приятно охлаждал и тяжелил руку. С виду он был неказист: весь испещрён крошечными ямками и точно припорошён мукой.

— Взгляни вот сюда!

Один бок окатыша был срезан, и в этот скол, как в окошечко, можно было заглянуть в нутро хрусталя. Ася припала к нему глазом и замерла. Перед ней лежало прозрачное до самого дна озеро. Чувствовалось, что вода в нём холодная, ледяная. Озеро было недвижно, оно словно дремало в пред-рассветном сумраке. Вдали, изогнувшись, стояла тонкая тёмная камышина, а возле неё желтел мох. Глубокая тишина наполняла этот хрустальный мир.

Ася с трудом оторвалась от «окошка».

— Как в сказке, правда?— спрашивала её Галя.— А кустик, знаешь что это такое? Ни за что не отгадаешь. Это тоже камень, называется рутил. Вот. И никто не знает, как он туда попал. Тебе нравится окатыш? Хочешь, я тебе могу его подарить?

Ася замотала головой. Нет, нет. И так Галя отделила её из своих запасов чуть не половину кадров...

Гале же очень хотелось сделать ещё что-нибудь приятное для Аси. Временами ей казалось, что Ася — это её младшая сестра. Родная маленькая сестрёнка, попавшая в беду. Почему в самом деле нет у неё, у Гали, ни сестры, ни брата? Вон у Нади Кузнецовой или Дины Мухтаровой сколько ребят, и какая у них всегда в доме стоит шумная кутерьма

Как хорошо! А ей, Гале, днём даже не с кем слова сказать. С Мыром, что ли, говорить?

Но теперь, думалось Гале, Ася будет с ней каждый день. Ирма? Ну что ж. Галя на неё не сердится. Будем играть вместе, если Ирма захочет. Втроём даже веселее.

— Но только сообща. Верно, Ася?

Ася качнула головой в знак полного согласия.

— А если Ирма опять начнет важничать, ты будешь приходить одна?

— Да,— сказала Ася.— Мне иногда очень не хочется играть с Ирмой, но не с кем больше. Ты дулась на меня, я ведь видела. Ты виновата, и я виновата.

Галя засмеялась: Ася права.

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ

Приказы Верховного Главнокомандующего следовали и утром, и в полдень, и поздно ночью. Стало привычным для всех ожидание позывных сигналов, нетерпеливое гадание у карты — «Что возьмём сегодня?» — и общий удовлетворённый вскрик «Вот!» после первых слов диктора.

Галя пробуждалась при первых же ночных сигналах радио, повторяющих одну и ту же коротенькую мелодию.

— Мама, что взяли?—спрашивала она, не открывая глаз, и, получив ответ, засыпала счастливая. Ах, как хорошо!

Наталя Ивановна и Родионов выслушивали последние известия всегда стоя, потом долго их обсуждали. Стремительное продвижение Красной Армии немного смущало Родионова, вызывало беспокойство.

— Я небольшой стратег, но я бы так быстро не наступал. Нет! А закреплялся бы. Но я думаю, меня спрашивать не будут. Моя мать, большая была умница, говорила часто: «Будет не так, как хочется, а так как должно быть». Вы понимаете?

Был поздний час, когда радио сообщило о взятии Орла и Белгорода. Галя уже дремала. При слове «Белгород» она тотчас вскочила с кровати и, прокричав «Ура!», начала проворно одеваться.

— Ты куда, голубушка?

— Как «куда?» К Асе, конечно. У них же нет радио.

Мать остановила её сборы:

— Пойдёшь завтра, если нужно. А сейчас — спать, спать.

Галя с плачем упала на подушку.

— Если хочешь знать,— возмущённо выкрикивала она, приподымая всклоченную голову,— то Белгород — Асин город. Они первые должны узнать, что он освобождён. Мы знаем, а они ничего не знают...

— Но пойми, сейчас все уже спят. К тому же, ты с Асей снова в ссоре...

— Ну и что,— сдавленным голосом выкрикнула Галя, обратив к матери залитое слезами лицо.— Я только скажу и уйду. Я ведь понимаю.

— Нет, вы поглядите на эту неразумную девчонку,— Наталья Ивановна повернулась к Орешкиной и Родионову, стоявшим у репродуктора.— Час ночи. От стука переполюшится весь дом. Зачем беспокоить людей?

— Реви, реви, Галька,— весело подзадорила Орешкина.— Что в самом-то деле! Сегодня, главное, салют победителям будет. Пусть люди послушают.

В разговор вступил Родионов.

— Конечно, ваше дело решать, Наталья Ивановна! Но я бы на вашем месте девочку отпустил. Клянусь! Освобождён их родной город, боже мой! Что значит перед этой вестью сон, ссора и всё житейское!

— Сдаюсь, сдаюсь,— Наталья Ивановна направилась к вешалке.— Одевайся, рёва-корова.

— Молодец, Галька! Поставила на своём,— одобрительно заключила Орешкина.— Вы уж не ходите, Наталья Ивановна. Я провожу её. Как бы нам только салют не прозевать.

На улице ещё раздавались повторные слова приказа, когда Галя и Орешкина вышли из дому.

— Завтра на новую работу перехожу: выдвинули меня судебным исполнителем. Буду следить, как судебные приговоры исполняются. Это самое главное дело. Всякие люди ещё есть у нас.

— Ты будешь судебным исполнителем?!— Галя с изумлением посмотрела на свою спутницу.

Орешкина шла, деловито засунув руки в карманы короткого чёрного жакета, легко перебирая ногами. Из-под надвинутого на макушку поношенного беретика выбивались жидкие «самodelьные» завитушки русых волос. Во всей щупленькой маленькой фигуре Орешкиной не было ничего важного и строгого, что заключалось в словах «судебный исполнитель».

— Тебя, видно, ценят?— с уважением сказала Галя.

— Ну да. Меня и профком ценит. Сегодня опять дали

бирку на платье. Шёлковое. Завтра зайду в универмаг. Я что попрошу, мне всё дают. Меня очень ценят.

Галя промолчала. Орешкина явно хвасталась перед ней. Пожалуй, перед взрослыми она не стала бы так говорить.

— Я ни от какого дела не отказываюсь. Всё исполняю,— продолжала Орешкина с привычной сумрачностью на лице.— Вот Гитлера расшибут, я в Харьков поеду. Меня судья зовёт. Мне что? Я вольная птица. У меня ни дому, ни лому. В любую минуту могу сняться с места. Шубы там не надо, валенок не надо. Живи не тужи...

Подумав, она неожиданно прибавила, ошеломив Галю:

— Я, может, оттуда ещё в Польшу скатаю. Пять лет, как никак, там прожила. Во сне иногда дом свой вижу, родных всех. Может, что о сестре узнаю там...

Галя раскрыла рот от удивления. Ни разу Орешкина не заводила речи о том, где она родилась и, вообще, что с ней было раньше. И Галя просто даже никогда не задумывалась над этим. Раз Даша живёт здесь, то, очевидно, она всегда и жила тут, и всегда была одинокой.

Оказалось, у Орешкиной были не только родители, но и сестра, на два года её постарше. Жили они в Польше, у самой русской границы. Был у них свой дом, корова, много кур и гусей.

В четырнадцатом году, когда немцы (тоже немцы!), объявив войну России, вторглись в Польшу и начали всё поджигать и громить, Орешкины побросали хозяйство и вместе с другими беженцами побрели, куда глаза глядят. Дорогой родители умерли от тифа. Даша и сестра попали в приют. Потом сестру перевезли куда-то в другое место, и след её потерялся.

— Ребёнком ещё была, что я разумела? Мне бы прыгать, смеяться, а я всего натерпелась. Кто виноват? Война. Не будь её, разве я бы так жила? Правители, они, жирняки, закупают войны. Им дела нет до народа, лишь бы только они блаженствовали. И когда только срубят им всем башки? Проклятые!

У двухэтажного деревянного дома, где была квартира Пересыпкиных, Орешкина спросила уже более спокойным голосом:

— Здесь, что ли?

Под уличным фонарём в полосе света кружились пылинки, как под летним зонтиком. Казалось, они танцевали под звуки музыки, раздававшейся с высоты Дома Красной Армии.

— Постоим немножко,— сказала Галя.

Ей стало вдруг страшно от мысли, что сейчас надо стучать в этот чужой, неприветливый дом и неизвестно, кто откроет дверь. Скорее всего на стук отзовется бабушка Ирма. Ах, если бы Ася...

Как войти и что сказать там? Если бы Даша начала первая... Галя с надеждой взглянула на неё.

— Ладно.

Орешкина дернула дверь парадного крыльца. Тёмная лестница повела их на второй этаж. Орешкина добродушно ворчала, спотыкаясь:

— Вот обчистят, как липку, так будут знать. Всё нарастает, в такое-то время...

Оказалась незапертой и вторая дверь на площадке.

У порога в передней Галя прошептала: «Дверь налево»,— и легонько подтолкнула Орешкину в полутёмный коридор.

— Безобразия,— по привычке пробормотала Орешкина и, забыв наказ Гали, повернула направо, к освещённой застеклённой двери. Привстав на цыпочки, она с минуту приглядывалась к чему-то, потом, стукнув в стекло, громко, во весь голос, выпалила:

— Белгород взяли!

Последнее слово прозвучало в ночной тишине особенно оглушительно.

На крик с ошалелым видом выскочила в коридор старуха Пересыпкина и, промелькнув мимо Орешкиной, принялась барабанить в дверь комнаты, где жила семья Аси.

— Вера Семёновна! Что же это такое? Ваши ребята опять не заперли парадное. Вы слышали: у нас опять что-то взяли...

За дверью сдержанно и сухо прозвучало:

— Дети спят. Я прошу не шуметь.

— Ах, вот как,— протянула Пересыпкина.— По вашей милости меня будут обкрадывать, и вам, значит, не скажи ни слова...

— Оставьте меня в покое, хотя бы ночью,— с усталым сдержанным раздражением прервал её тот же голос.

Пока происходил этот неприятный разговор, Галя затаилась в тёмном углу, совершенно ошеломлённая непредвиденным оборотом дела. Орешкина, засунув руки в карманы, невозмутимо стояла посреди коридора, ожидая, когда Пересыпкина обернётся к ней. Старуха, наконец, заметила её и всполошилась ещё больше:

— Это вы кричали? Как вы попали? Что вам надо? — с сердитым и испуганным недоумением засыпала она Орешкину вопросами.

— Матрона Матвеевна, это мы,— пролепетала Галя, выходя из тьмы передней.— Белгород и Орёл взяли...

— Что, что?

Два раза пришлось повторить известие, пока оно дошло до сознания старухи.

Хлопнув себя по широким бокам, Пересыпкина метнулась опять к двери жилички.

— Вера Семёновна, идите скорее! Белгород ваш освободили. Вот люди пришли, говорят.

За стеной с шумом упало что-то, и в распахнутых дверях появилась мать Аси, а за ней и сама Ася, босая, в одной рубашке.

— Белгород...— дрогнувшим голосом произнесла Вера Семёновна и закрыла лицо.

— Ой!— взвизнула Ася и, привскочив, бешено закружилась на одном месте.— Как я рада, как я рада!

Галя, вся напрягшись, едва удерживала слёзы. Она и сама не знала, почему ей хотелось плакать при виде пляшущей Аси.

Общий разговор продолжался минут десять, возбуждённый, беспорядочный, как бывает всегда в такие исключительные моменты. Пересыпкина, забыв о недавней стычке, обнимала Веру Семёновну; Орешкина, с довольным видом глядя на них, смеялась тонким рокочущим смехом.

До Гали доходило всё это как в полусне. Несколько раз она чувствовала на себе взгляд Аси, ласковый, спрашивающий и смущённый. Потом Ася скрылась.

Когда Галя с Орешкиной вышли на лестничную площадку, сзади прошумело что-то, и невидимая рука сунула Гале бумажку.

Снова пустынная улица, торжественный полукруг колонн Дома Красной Армии, уходящая вдаль цепь тусклых уличных фонарей.

— Старуха, видно, богато живёт,— рассуждала про себя Орешкина; идя всё тем же деловым, лёгким шагом,— ковры, диваны, горка со всякой посудой, два сундука... На Ирме халатик шёлковый...

— А разве она была там?

— Ох, и чудная же ты сегодня,— засмеялась Орешкина.

У фонаря, под его светящимся зонтиком Галя развернула записку Аси. «Приходи ко мне, если не сердись».

Галя медленно свёртывает записку и сжимает в руке. Нет, она не сердится на Асю. Даже не помнит, из-за чего они и поссорились на днях. Сейчас всё забылось...

Перед репродуктором, у Дома Красной Армии, толпились люди в ожидании салюта. Галя молча становится рядом с Орешкиной. Вполголоса, точно боясь спугнуть тишину, переговариваются люди, изредка взглядывая на большие электрические часы, висящие неподалёку. Скоро! Длинная стрелка уже подступает к двенадцати.

Галя закрывает глаза. Одна мысль вдруг озаряет её. Ведь сейчас, именно в эти самые минуты миллионы людей вот так же, как она, замирая от волнения, ждут салюта. Салют ждут все города, все деревни — вся страна. И на миг ей представляется как что-то огромное и могучее, бескрайний простор Родины и народ, как единая семья, нераздельная и в печальных, и в радостях.

В ночную тишь ворвался вначале разноголосый, невнятный гул Красной площади, затем древний, чуть дребезжащий перезвон Кремлевских курантов, и одновременно с первым ударом часов прокатился в воздухе первый торжествующий и грозный рёв пушек...

Пройдут годы, но никогда не изгладится из памяти Гали эта картина военных лет: поздняя ночь, огромное здание Дома Красной Армии с фигурами танкистов на высоком фронте и толпа, стоящая перед репродуктором.

Память, мудрая хранительница опыта, воскресит перед Галей и другие образы: отца в день прощания с последним наказом: «Помогай маме!», Сашу, уходящего на фронт, Леонида Петровича, поднимающего, как вымпел, правительственную телеграмму, мать, согнувшуюся над документами или над шитьём белья для бойцов, грохот танков в предраассветной тиши и огненные всполохи на дворе неведомого завода. Всё, всё, припомнится взрослой Гале, и минувшее предстанет перед ней, как годы великого труда всего народа-героя, как годы борьбы за мир во всём мире, за счастье детей.

ДОРОГОЙ

После обильных дождей, захвативших конец августа, установилась сухая солнечная погода. Школьники отгуливали последние вольные деньки. Ради игр, ради шумных, весёлых

затей дети забывали всё: и ужин, остывающий на столе, и поручение матери, не один раз повторённое, и увлекательную книжку, взятую у кого-нибудь на один вечерок.

Матери, сидя на крылечках, покачивали головами:

— Как выросли за лето, господи! А давно ли были вот такие...

А дети в суете всяких хлопот, выдумок и забав не замечали за собой каких-либо перемен, и только иногда в редкие, особые минуты обнаруживали вдруг, что выросли из всех своих одежонок, и недавние, поглощавшие всё их внимание увлечения, внезапно отошли куда-то, стали неинтересными и далёкими.

...Светлый осенний день. Галя и Ирма идут с вокзала. Они только что распрощались с Асей. Когда поезд начал убыстрять ход и было бесполезно махать платком, Галя и Ирма повернули к выходу.

— У нас радио провели. Я каждый день слушаю сводку,— сказала Ирма, поравнявшись с Галей.

— Да?— сдержанно проронила Галя, и на этом их разговор прервался. Они шли, как посторонние друг другу. Шли вместе потому, что к дому вела одна эта кратчайшая дорога. Опавшие листья густым слоем устилали путь. Было приятно ворошить ногами и слушать их лёгкое сухое шуршание.

— Ты что подарила Асе?— спросила Ирма.

Галя ответила. Она подарила Асе на память об Урале хрустальный окатыш.

— А ты?

— Альбом плюшевый.

— Да?

Ирма рассталась со своим драгоценным альбомом! Это казалось невероятным.

— Ася обрадовалась твоему окатышу?— немного погодя спросила Ирма.

— Я не знаю. Она взяла, и всё.

Гале не хотелось говорить Ирме, что Ася совсем не обрадовалась её подарку. Безразлично взглянув на камень, от которого она когда-то не могла оторваться, она сказала: «Спасибо»,— и, как простую гальку, сунула его в корзину.

Странная сегодня была Ася. Прижав к себе Владика, сидела она рядом с матерью в уголке вагона, тихая, очень бледная, и всё время болезненно шурилась, как будто что-то мешало ей смотреть на свет. Ася ли это была? Та Ася, у которой из глаз всегда вырывалось словно смеющееся синее

пламя, даже тогда, когда она говорила об очень грустных вещах.

— А ты знаешь, что Асиного папу убили?— тихо проговорила Ирма.

Гале показалось, что её внезапно ударили в грудь. На миг стало темно перед глазами. Асиного папу убили! Убили папу!

Ирма продолжала говорить. Её голос то приближался к Гале, то уходил далеко.

— Вера Семёновна, как пришла туда, спрашивает: «Он убит?» Ей говорят: «Не волнуйтесь, успокойтесь». Она опять спрашивает: «Он убит?» Тогда ей сказали: «Ваш муж умер смертью героя». Домой её вела моя бабушка. Она говорила ей: «Не подавайте детям и виду. Держитесь как-нибудь».

— Значит, Ася ещё не знает?

— Нет, думаю, что Ася знает. Я зашла к ней на другой день. Она сидит и плачет. Я говорю: «Ты что?» Она молчит. А сегодня, когда я ей отдавала альбом, она была совсем как бесчувственная. Ну, нисколько альбому не обрадовалась, ну, прямо нисколько. Мне даже обидно стало. Альбом — всё-таки дорогая вещь. Сейчас такой ни за что не достать...

— Ты жалеешь? Тебе жалко, да? Для Аси жалко?— Галя с гневным удивлением обернулась к Ирме.

— Ничего не жалко. Я просто так сказала. С какой стати я буду жалеть... Выдумала тоже.

Разговор опять прервался. В центре города они замедлили шаг.

Навстречу двигались толпы народа, как будто люди всё время выходили из кино после сеанса. С дальнего репродуктора ветер принёс одно слово «Мценск», а остальные слова умчал в сторону. Глаза Гали блеснули. Ей захотелось говорить. Невозможно молчать, когда сообщают о победе.

— Мценск — это большой город. Он есть на нашей карте,— сказала Галя, приблизившись к Ирме.— Мы каждый день освобождаем много городов. Скоро нашей карты не хватит. Ты записываешь, что мы берём? Нет? Я сперва записывала, а теперь вырезаю сводки из газет и складываю в папку. Так удобнее.

Оказалось, Ирма не записывала и не вырезала ничего. Она не знала даже, что про эту войну потом будут спрашивать на уроках истории.

— А тетрадка с изречениями у тебя есть? Есть! У меня уж много выписано. Вот, например: «Друг — нам верная

опора, если встретится беда». Или: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор». Хорошие, правда? Это из «Витязя в тигровой шкуре». Ужасно интересная книга! Я тебе дам почитать, если хочешь...

Ирма слушала Галю без привычного задора и насмешки, как бывало прежде. Разговор незаметно перешёл на учебники. Та и другая уже соскучились о школе. Лето отошло, пора приниматься за своё главное дело: учиться, учиться! Неодолимо захотелось повидать всех своих девочек, узнать, кто что делал, где побывал. Мысль о том, что скоро начнутся занятия, пробуждала у обеих шемящее чувство, немного грустное и в то же время радостно волнующее. Перебивая друг друга, они начали вспоминать, что было в прошлом году:

— Помнишь, как боец из госпиталя рассказывал нам, за что он получил медаль «За боевые заслуги»? Мы ему ещё буют Ленина преподнесли...

— А помнишь занятия по физкультуре. У нас был кросс. Я проехала на лыжах два километра за четырнадцать минут. Меня похвалили.

— А «санитарное дело» помнишь? Эта десятиклассница в очках. Уткнётся в книгу и бормочет себе под нос. А мы кричим: «Опять пришла нас мучить!»

— А эту девушку-милиционера, которая провожала нас вечером из школы, помнишь? Добрая, правда?

Поток воспоминаний был бесконечен. Внезапно их обеих поразила мысль, что у них уже есть свои собственные воспоминания, и чем дальше, тем их будет всё больше и больше. Когда же они были маленькие, как Эдик, то у них воспоминаний не было совсем. Как интересно получается!

ПОСЛЕДНЯЯ КУКЛА

Во дворе Галю остановила Раечка Назарова. У неё было дело: не согласится ли Галя обменять свою куклу Светлану вот на эту сумочку. Мама ей разрешила.

Раечка стояла перед Галей, как перед большой, — робко, с надеждой на неё взглядывая большими синими глазами на тонком бледненьком личике.

— Псменяемся, Галя, а? Я тебе ещё что-нибудь дам в придачу. У меня разноцветные стёклышки есть, стрекоза.

Неожиданное предложение застало Галю врасплох. В первую минуту она сразу решила: да, да! Сумочка — её давняя мечта. Ведь туда можно уложить всё, что угодно: и носовой платок, и карточки, и деньги, — в общем, всё. Но кукла...

— Подожди, Раечка, я ещё подумаю.

И вот Галя посреди комнаты. В одной руке — небольшая сумочка из жёлтого дерматина, в другой — кукла.

— Как ты думаешь, меняться или нет?

Галя вопросительно смотрит на Ирму. Подойдя к окну, Ирма ощупывает сумочку со всех сторон. Что ж, сумочка, как настоящая. Поношенная, правда, но узорчик хорошенький и замок ещё крепкий. Ирма раза три щёлкает замком и, повесив сумку на руку, разглядывает на расстоянии.

— А на пупса они не меняются? — деловито осведомляется Ирма.

— Ах, если бы на пупса...

Галя бросает взгляд на пупса, который один лежит на столе. Пупс упитан и точно вышел из жаркой бани. У него всё блестит: и толстый живот, и щёки, розовым глянцем отсвечивают неподвижные ноги, похожие на сардельки. Кукла рядом с ним кажется маленькой, бледной, но бесконечно милой.

— Она точно из госпиталя, — замечает Ирма, равнодушно отводя взгляд от куклы.

— У неё всё аккуратно: ножки, ручки. У нее даже есть ноготки.

— У неё волос нет, нельзя заплетать. Я своей Нелличке две косы заплетая.

— У Светланы есть волосы. Только они выдавленные. Они тоже хорошие, как причёска.

Ирма с любопытством перебирает кукольное имущество. Она знает здесь почти каждое платье. Вот это розовое Галя сделала из своего летнего шарфика; зелёную бархатную юбочку подарила тётя Оля, она же дала и это красивое оранжевое платье. Кукла богатая.

— Ты дашь мне это?

Ирма встряхивает в воздухе алое лёгкое платье, похожее на лепестки мака.

Галя поднимает глаза на платье и опускает.

— Бери.

— Я хочу сшить Нелличке платье с модными рукавами. Мне бабушка обещает крепдешину.

— Я, может, ещё не сменяю на сумочку.

Ирма отходит к зеркалу.

— Говорят, что я неимоверно выросла за лето. Это платье мне шили в прошлом году и, гляди, оно уже выше колена. К весне бабушка купит мне туфли на каблуках. Я тогда буду ходить в музкомедию.

— Меня уже сейчас пропускают в музкомедию,— говорит Галя нарочно, чтобы подзадорить Ирму.— Я говорю контролёру: «Мне четырнадцать»,— и прохожу. Верно, верно!

— Вруша,— добродушно роняет Ирма.— Я выше тебя, а меня и то не пропускают.

— Ой, выше!

Смеясь и толкая локтями, они встают спиной друг к другу. Зеркало отражает две фигурки в коротких, выше колен, платьях. Ирма крупнее Гали. У неё белое с веснушками лицо и розовые пухлые, как у пупса, ноги. Распущенные до голых плеч волосы схвачены на макушке красным бантом. Хрупкая фигурка Гали выглядит рядом с ней ещё тоньше. К концу лета Галя очень вытянулась и похудела. Бронзовая от загара, с быстрыми оживлёнными глазами и движениями, она походила на цыганку. Две косички, наскоро перевязанные пёстрой тряпочкой, забавно топорщатся в разные стороны.

Галя трогает затылок Ирмы и, встав на кончики пальцев, силится подняться выше.

— Ну что!— победоносно произносит Ирма, сбавчиваясь, и пробует приподнять Галю, как маленькую.

Хохоча, они возьмётся друг с другом среди комнаты.

— Галя!— раздаётся с порога голос Эдика.— Раечка куклу просит, или сумочку давай.

Галя вздрагивает.

— Сейчас, сейчас,— кричит она и опять в раздумье останавливается перед куклой.

В последний год Галя почти совсем не играла с ней. Почему-то не хотелось. Шила только платья для неё. Можно бы и отдать куклу. Но... Светлана была с ней столько лет. Вот сейчас она как будто просит её: «Не отдавай меня никому, оставь у себя». А как же Раечка? У Раечки ещё не было ни одной настоящей куклы и купить негде. Что же делать?

— Ах, какая ты тиходумка,— с досадой говорит Ирма.— выбирай же.

Держа куклу в обеих руках, Галя медленно направляется к двери. В передней она сталкивается с Орешкиной.

— Ты что?— спрашивает Орешкина, заметив её расстроенное лицо, и узнав, в чём дело, решает сразу же. — Меняйся, конечно, что за вопрос? Для чего тебе кукла, ты уже большая. Вон какая цапля вымахала — выше меня.

Галя распахивает дверь и кричит:

— Меняюсь!

Раечка со счастливой улыбкой прижимает к себе Светлану — первую в своей жизни куклу.

Вечером Галя сидит за ужином бледная, вялая. Её даже не обрадовал стакан молока.

— Мама, а где опаснее, — спрашивает она с какой-то затайённой мыслью, — летать на бомбардировщике или, как папа, работать радистом?

— Не знаю, Галя. На бомбардировщике, вероятно, опаснее. Хотя...

— А война скоро кончится? К новому году может кончиться?

Наталья Ивановна делает неопределённый жест. Ей ли ответить на этот вопрос, который мучит всё человечество? Враг отступает, его гонят на всех фронтах, потери его огромны, но зверь ещё силен. Война может затянуться.

Лицо Гали ещё более грустнеет. Наталья Ивановна незаметно меняет тему разговора: Начинает расспрашивать, все ли она достала учебники, нет ли в школе объявления о том, в какую смену назначен пятый класс. Хорошо бы с утра...

Задумавшись, Наталья Ивановна подходит к окну. Среди огородной зелени она впервые замечает бурые прогалы с кучками увядшей картофельной ботвы, тёмные круглые лица голоногих подсолнухов и вдали золотое дрожащее сияние на двух берёзках.

— Пора копать картошку. Давай, Галина, в это воскресенье займёмся огородом. Собрать бы ведёрок десять. Да нет, не будет, пожалуй, столько.

Перед отходом ко сну Галя задерживается взглядом на сумочке, к которой не прикасалась весь вечер...

ОТЪЕЗД

Город заметно разгружался. На запад и юг отправлялись эшелоны за эшелонами. Вслед за москвичами, шумно отхлынувшими в столицу, двинулись на родину харьковчане, потом киевляне. Все радовались, глядя на их счастливые лица, и плакали, расставаясь.

Ленинградцы зашевелились сразу же после прорыва блокады. В столовых, на трамвайных остановках, в магазинах — повсюду можно было встретить их оживлённые группы. За них радовались особенно: мысль о Ленинграде, сдавленном блокадой, угнетала всех.

Тётя Оля собралась в дорогу одна из первых, не зная точно, пропустят ли её с матерью в Ленинград, с которого ещё не было целиком снято вражеское кольцо.

Последнее время тётя Оля работала в госпитале и была довольна.

— Тяжело, конечно, устаю невероятно, — признавалась она Наталье Ивановне в редкие теперь встречи. — Но рада и спокойна. Перестала грызть себя.

Вскоре после её отъезда стал готовиться котлёту и Родионов. Он расспрашивал всех, что нужно для въезда в родной город, жадно прислушивался к разговорам эвакуированных, наблюдая их предотъездную суету.

Часто бывая на вокзале, он не раз думал, как много, оказывается, принял город невольных гостей и не просто принял, но дал каждому кров, пищу, работу. Никого не оставил под открытым небом.

Радио сообщило об освобождении Смоленска и Рославля в один из сентябрьских вечеров. При первых словах приказа в старом доме началась весёлая суета. Для праздничного стола Орешкина пожертвовала чекушку водки, которую обещала Приткину за подбивку каблуков. Пока она раскладывала по тарелочкам селёдку, капусту и огурцы с расчётом на вкус каждого, Наталья Ивановна, склонившись к копилке, расшифровывала запись одного кулинарного рецепта. Она вознамерилась изготовить торт. Да, торт, торт военного времени, рецепт приготовления которого ей сообщила когда-то мать тёти Оли. Для торта требовалось всего понемногу.

— «Четыре тёртых картофеля». Есть. «Ложка муки». Гм. Одна всего ложка, но если её нет... Галья, беги к Федосье Степановне. Пусть выручит. «Одно яичко». Заменим яичным порошком. «Ложка горчицы». А она для чего? Ладно, обойдёмся без горчицы. «Сода». Есть. «Четыре ложки сахарного песка». Почему четыре, а не пять? Сыпь, Даша, в это картофельное месиво. «Ложка топлёного масла», заменим лярдом. Итак, необходимый ассортимент набрали. Отвинчивай, Галина, голландку. Угли ещё есть? Приступаем. Ну, господи благослови!

Через полчаса торт был готов. Тёмно-серый, расплывчатый, с чёрной пригарью внизу. Торт, вся сладость которого заключалась в одном лишь названии. Галя, не утерпев, отломилла краешек и проглотила, не успев распознать вкус. Однако она подняла вверх большой палец.

— Vol

Торт, разрезанный на крошечные кубики, был водружён на самую середину стола, покрытого белой скатертью. Торт был первым поводом для общего смеха и шуток. Орёшкина рассыпалась тонким, журчащим, как ручеёк, смехом и то и дело обращалась к Родионову:

— Чокнемся, Леонид Петрович! Вы у нас сегодня именинник. За победу!

И она как-то особенно звонко стучала своей жестяной кружечкой об его массивную эмалированную кружку.

На следующий день Родионов роздал приятелям почти всю свою кухонную посуду, а нужные в дорогу вещи обшил рогажей и перевязал верёвкой.

Все предотъездные дни в нетерпеливом ожидании пропуска он был более молчаливым, чем всегда. Рассеянно выслушивал он Галю, когда та, по привычке, начинала рассказывать ему что-либо из своих ребячьих новостей. Казалось, ему теперь уже не было дела до её отметок и уроков, ни до мальчишек, которые испытывали новую «гробмашину», стреляющую глиной, ни до чёрного Мыра, запропавшего куда-то.

Родионов делал над собой усилие, чтобы понять смысл её слов, и хоть что-нибудь сказать в ответ об этой жизни, прежде живо трогавшей его. Другая жизнь владела его воображением, другие голоса звенели в ушах.

— Я уже крылат, выросли крылья,— сказал он как-то Наталье Ивановне.— Днём — как во сне. Ночью — бодрствую. Я будто в Рославле, дома, и со мной вся семья. Юлечка на коленях,— он помолчал, справляясь с волнением, и потом воскликнул: — Я готов жить на улице, в холоде, где и как угодно. Ради детей! Клянусь!

В последнее время Родионов совсем не готовил обед и довольствовался лишь чаем да хлебом. Но ни тени недуга или слабости не выражалось на его исхудалом бритом лице, а что-то необычайно деятельное и до предела сосредоточенное на одной, безмерно желанной цели горело в его тёмных, запавших глазах.

К часу его отъезда все были дома. Во дворе уже стояла двухколёсная тележка. Низенький плотный старик с рыжей бородкой начал таскать вещи. Галя беспокойно сновала за ним.

Родионов надел пальто, перебросил через плечо термос и ещё раз пересмотрел содержимое своих карманов.

— Да, чуть было не увёз с собой,— сказал он, протягивая Наталье Ивановне ключ от квартиры и крепко пожимая ей

руку.— Благодарю вас. В гостях три дня живут, не более, а я вот — два года.

Галя застенчиво протянула ему несколько открыток.

— Это Юлечке. Вот оперный театр, а наш домик за этой крышей. Видите?

Он обхватил Галю за плечи и поцеловал.

— Вытянулась, как тростиночка. А была совсем крошка. Помнишь, как нас с Сашей принимала в первый день? Ты не забудешь деда? И ты когда-нибудь приедешь к нам.

Растроганный, он обернулся к Наталье Ивановне.

— Друзей, которых мы нашли в трудную минуту, не забудешь никогда. Они — в сердце.

Подойдя к зеркалу, чтобы надеть шляпу, он улыбнулся невесело.

— Юлечка не узнает... Дедо старый, зубов нет...

Не договорив, он сунул папироску в рот, отца его верхняя губа, сморщившись, безвольно подалась вверх.

— Гляди, гляди! Он уже покати! — встревоженно вскричала Орешкина, стоявшая во дворе, как на карауле.

Родионов заторопился к выходу. На крыльце он остановился. С лица его сошло озабоченное, беспокойное выражение, какое держалось весь день. Только сейчас, в самый последний момент, понял он, что навсегда покидает этот старый дом, давший ему приют в горькие дни его тяжелого кочевья. Едва ли когда придётся ему увидеть снова эту быстроногую хозяйшку, порывистую и нежную, как его Юлечка. Едва ли когда придётся повстречаться и с её всегда сдержанной и немногословной матерью, с которой он так и не удосужился разговориться по душам. Не увидит он, конечно, и Орешкину. Боже, как досаждала и раздражала его эта бурливая, вечно во всё вмешивающаяся крикунья! Сколько раз порывался он осадить её! А вот теперь кажется, что нет на свете более простодушной, более отзывчивой души на свете, чем она.

Никогда, вероятно, не бывать ему больше в этом городе, который и после его отъезда до конца войны будет жить той же напряжённой и трудной жизнью, работать для фронта день и ночь...

Все столпились за воротами. Тележка, накреньясь, переползала через поломанный мостик над канавой. Родионов, обернувшись, приподнял шляпу.

Улица была пустынна. Холодный ветер взметал пыль. Родионов едва поспевал за тележкой. На повороте он обернулся и опять приподнял шляпу, в последний раз.

Галя, стоя посреди мостовой, слабо махнула рукой.

— Дурочка!— сказала Орешкина, приметив слезы на её глазах.— Ты радуйся! Он домой едет. Теперь мы одни будем жить. Просторнее. И по ночам кашлять никто не будет.

— Он совсем не кашлял. Ты больше кашляла.

— Да я разве ругаю его? Он ничего старик, самостоятельный, только в кухне много топтался. Я завтра приберусь везде.

В квартире царил беспорядок, обычный после дорожных сборов. На полу валялись обрывки верёвок, шпагата, рогожных мочалок. Под кроватью с голой сеткой и свёрнутым тюфяком лежал ворох смятой бумаги. Пыльные коробки, банки, бутылки в беспорядке громоздились на столике и подоконнике. Нелепой раскорякой стоял поперёк комнаты диван.

— Ой, что это?

Из-под кровати высовывалась резиновая трубка.

— Противогаз!— прошептала Галя, вытянув из мусора зелёную коробку с прикреплённой к ней маской.

С взволнованным вниманием, почти с нежностью разглядывала она круглые глаза маски, подёрнутые пылью. Это был тот самый противогаз, с которым в первый день приезда явился Родионов.

— Он забыл! Мама, мы поедem к нему, и я привезу?

Мать улыбнулась. Если противогаз был не нужен Родионову в эти годы, то после войны тем более.

Тогда Галя натянула на себя резиновую маску и побежала во двор устрашать ребят.

Часа через два в квартире всё было на прежних местах, как до войны. Диван, два года служивший перегородкой, встал у стены; на кровати вздымалась постель Гали; на чистом полу лежала ковровая дорожка.

Наталья Ивановна сидела одна. Медлительная грустная тишина вливалась в старый дом. Так было в тот вечер, когда уехал муж. Так было и после отъезда Саши. Человек уже давно покинул дом, а в воздухе ещё звучит его голос, и знакомая фигура живёт и движется, как наяву, в комнате, ставшей непривычно просторной.

ЕЩЁ ПОЛТОРА ГОДА

Наталья Ивановна ходила в архив одной и той же, тысячу раз исхоженной дорогой. И когда летом её вдруг опахивало сладковатым, знакомым с детства дуновением, она на миг приостанавливала шаг и взглядывала вверх на зелёный густой

навес старых деревьев. Ах! Это липа! Какой же месяц сейчас? Рассеянно засекала она в памяти день и месяц и в то же мгновение их забывала. Новое дуновение того же запаха вызывало в ней опять удивлённо-радостное восклицание: уже, уже расцвела липа!

Потом, спустя какое-то время, она замечала, опять так же вдруг, прибитые дождём к панели жёлтые опавшие листья, и как тогда в июле, у неё вырывался взглас грусти и удивления: ах, уже осень!

Время летело с безумной скоростью и, казалось, бег его прекратится лишь тогда, когда закончится война и вернётся муж. Она запретила себе думать о муже, зная, что если даст волю, то притаившаяся подавленная тоска вырвется наружу, и тогда невозможно будет не только работать, но и жить. К концу дня утомление и слабость были так велики, усталость нависала к ногам таким свинцовым грузом, что, казалось, ещё день, и она свалится, не встанет. Но наступало утро, Галя подавала свой голос, и Наталья Ивановна поднималась с постели. Бледная, слабая, но готовая выдержать и этот новый день. Это была не физическая усталость и не истощение. Уж не так-то много она работала. Архив — не завод, и её стол с бумагами — не станок, изготавливающий детали машин. Нельзя сказать, чтобы она питалась плохо. С сорок третьего года профком архива заполучил большой участок за городом и разными путями добывал обрезки картошки для посадки. Нет, она не голодала, жить было можно.

Наталья Ивановна знала, отчего у неё такая безмерная усталость, которую не мог ослабить даже глубокий сон. Слишком долго длятся эти годы каждодневных и ежечасных тревог!

Тревога за Родину, с судьбой которой целиком связана её жизнь, как и жизнь всех советских людей. Тревога за мужа, подвергающегося постоянной опасности. Тревога за дочь...

Тревога за дочь не отпускала её ни на одну минуту. Галька ушла с судками в столовую. И вслед за ней летят думы. Закутала ли она шею шарфом? Надела ли тёплые рейтузы? Только бы она не торопилась, пересекая дорогу! Сейчас такое ужасное движение. Столько машин, трамваев.

Галька в магазине. Как-то она там? Наверное, истомилась до предела, голодна. Детка моя, на что уходит твоё детство! Что-то долго не подаёт она о себе вести! Что её могло задерживать? Может, нет монетки для автомата, а может... Вот уже и работать нет мочи. Позвони или явись сама, моя голубка!

Каждодневно и ежечасно трепетала она за свою Гальку,

которая не испытывала и тысячной доли тех страхов, возникающих в разгорячённом воображении её матери.

Силу жизни придавали известия о победах на всех фронтах, следовавшие безостановочным потоком. В течение дня приказы повторялись по нескольку раз, но сердце, до краёв как будто переполненное радостью и ликованием, вбирало снова и снова эти слова о торжестве Родины. Гордый блеск в глазах вызывал каждый шаг исполина-освободителя.

Ночной перезвон Кремлёвской башни, едва начавшись, переносил человека, где бы он ни находился, на Красную площадь. В строгом торжественном безмолвии каждый видел, как взвиваются в небо огни победы. И грозный рёв пушек, салютующих победителям, человек слушал как самую прекрасную симфонию.

Наконец, пришёл день победы. Сообщение о полной капитуляции врага ожидалось ещё восьмого мая. У репродукторов до поздней ночи толпился народ. В старом доме не спали до утра.

— Победа! — вскричала Орешкина при первых словах диктора и, подхватив Галю, выбежала на улицу.

С утра моросил холодный дождь. Но улицы и все площади были запружены ликующим, празднично одетым народом. Некоторые взбирались на крыши домов, сараев и там, взявшись за руки, отплясывали под гармошку. У почтамта выстроилась длиннейшая очередь жаждущих послать поздравительную телеграмму.

Кто-то, создав ребятишек, закупил всё мороженое в киоске и крикнул им: «Налетайте!» Проходившие бойцы поминутно попадали из объятий в объятия.

С этого дня Наталья Ивановна начала жить только одной мыслью, одним ожиданием: скоро приедет Виктор! Как только муж сообщил день возможного приезда, она, что бы ни делала, с кем бы ни говорила, думала только о нём. Скоро, скоро! — выстукивало в её мозгу. Но это «скоро» приближалось до отчаяния медленно. Время, вихрем летевшее дотолё, вдруг перестало мчаться, оно точно застыло на месте.

Лишь когда началась побелка и покраска в квартире, время опять стало набирать прежнюю скорость. Наталья Ивановна поторапливала маляров — двух молодых проворных женщин.

— И так гоним из всех сил, — отвечала старшая из них. — Если бы не это обстоятельство, разве мы бы стали утруждать себя. Пять часов спим, руки болят.

Женщина вскидывала к потолку лицо, измазанное зелёным раствором купороса.

— Если работать с прохладцей, как некоторые бригады из жилотдела, то в месяц здесь никак не управиться. Сама видишь, запущено до чрезвычайности.

— Это верно,— соглашалась Наталья Ивановна,— но надо в три дня уложиться. Хозяин уже в дороге.

— Постараемся. Мы — безотказные люди,— говорила женщина и, запевая песню, бралась за кисть.

На четвёртый день, точно по уговору, она крикнула:

— Принимай, хозяйка, работу. Мы своё кончили.

Тотчас после уборки стали приходить соседки. Их приводили то Галя, то Орешкина.

— У меня в комнате, как заря светит. Правда, ведь? — спрашивала Орешкина каждую.

Соседки глядели на алые отблески, падавшие на потолок от розовых стен, и подтверждали искренне: да, как заря.

— И потолок, как бархатный, правда, ведь?

Женщины соглашались и с этим.

Иногда Орешкина нарочно выбегала во двор и, вернувшись, восхищённо повторяла:

— С улицы войдёшь, так стёкол не видно!

Стёкол в самом деле не было видно. Рамы блестя снежной голубизной непросохших белил. И, казалось, достаточно протянуть руку, чтобы сорвать травинку или пожелтевший листок с тополя.

Виктор Николаевич приехал в тот час, когда Галя была ещё в школе. Эдик Назаров первый известил её. Промчавшись во весь дух целый квартал, на углу которого она только показалась, он возбуждённо и сердито крикнул: «Ты что не торопишься? Твой папа приехал с фронта!» Вслед за ним, задыхаясь от бега и волнения, прискакал его приятель Юрка, потом Раечка.

С этой свитой маленьких, неистово галдевших вестников Галя добежала до крыльца. Сбрасывая на ходу пальто и панамку, она с криком: «Папа!» — влетела в дом и остановилась среди комнаты, внезапно объятая смущением.

От стола отделился человек в военной форме и, протягивая к ней руки, произнёс:

— Так это моя девочка?

Спустя минуту Галя стояла у стены, до предела растерянная, а отец, отступив на шаг, с нежной улыбкой оглядывал её.

В юном облике дочери, сформировавшейся в его отсутствие, он скорее угадывал, чем видел, родные, близкие черты. Всё было ему незнакомо в этом высоком тонком подростке: и тугие косы, венком обрамлявшие продолговатое, зардевшееся лицо, и блестящие тёмно-серые глаза с уже пробудившейся серьёзной пытливостью, и сдержанный, чистый очерк полуоткрытых, как бы вопрошающих милых губ.

— Уже платочек...

Он коснулся кончика кружевного платка, высунутого из кармашка чёрного фартука, на котором лежал аккуратно повязанный пионерский галстук.

Конфузливо сутулясь, Галя скользнула за спину матери. Отец отвёл от неё глаза, и она успокоилась.

— У нас вот так же,— заговорила Федосья Степановна, сидевшая у двери.— Эдик был в детком садике. От отца двух годочков с половиной остался. Ну, отец, значит, пришёл туда. Мать говорит: «Ищи своего сына». Он оглядел деток и — сразу к нему. Признал свою кровь. Так мы все, бабы, изревелись, глядя на них... Радость сколь великая: с такой войны вернуться целым, невредимым. У моего Кости только нога правая повреждена в двух местах: повыше коленка две сине ямины остались...

— Мы, Виктор Николаевич, без вас дружно жили,— громко и весело выкрикнула Орешкина, давно выжидавшая момента вступить в разговор.— Брёвна пилили вместе, картошку выкапывали вместе. В прошлом году, ой, и намучились! Ночь, тьма кромешная, грязь... Заехали куда-то в ложбину. Галька кричит: её мешком привалило. Ой, что было...

Галя разглядывала отца с жадным любопытством. Так это её папа?

Четыре прошедших года сделали зыбким его прежний образ, отложившийся в детской неустойчивой памяти. На него наслаивался другой образ — человека в шинели — со снимка, посланного отцом с фронта.

Отец, сидевший сейчас перед ней, был значительно проще, чем она его представляла. Но в знакомых чертах доброго усталого лица, покрытого ровным заггаром, она улавливала суровое дуновение новых, неизвестных ей чувств, вызывавших в ней невольную робость и стеснение.

На груди отца висела колодка со знаками наград. Цветные полоски издали походили на линии солнечного спектра.

— Мама, а папа немного похудел, я думала больше,— шёпотом сказала Галя.

Мать чуть приметно кивнула головой. На её лице, озарённом радостью и оттого ставшем неожиданно молодым, Галя с удивлением заметила смущение и как бы робость. Мама тоже стеснялась!

— А он знает, что Япония вчера капитулировала? — опять шёпотом спросила Галя.

Мать сделала нетерпеливый жест. Галя притихла, но сосредоточиться не могла. Что-то рассказывала Федосья Степановна своим тонким певучим голосом, чему-то смеялась Даша, мать роняла изредка какие-то слова. Галя всё слышала и всё понимала, но в памяти не удерживалось ничего.

— И всю-то ноченьку не спишь, — говорила Федосья Степановна, — ворочаешься с боку на бок. Думаешь, что же такое стряслось? Неужто ребята наши не переборют врага? Опять умом своим раскидываю: народ с каждым часом крепнет, силы набирает. Должны мы врага одолеть. Так проверчусь до утра, разобью свои мысли и усну. Конца войне не виделось...

Орешкина снова прервала её весёлым криком:

— У нас, Виктор Николаевич, до пяти градусов в квартире доходило. С дровами как мучались. Сырьё! Да крыша стала протекать. Мы ведра подставляли. Ой, безобразие! — она засмеялась, вспомнив, как она с Натальей Ивановой перевозила дрова в ванне, а Галя, подталкивая груз сзади, покрикивала: «Но, но, лошадки!» — Такая напористая Галька стала, что не дай боже. Уж что задумает, обязательно поставит на своём. Со мной спорит, как большая...

Галя покраснела, боясь повернуться в сторону отца, взгляд которого она чувствовала на себе.

— Костя мой на Миусе воевал, так рассказывает: «Умирать буду, реку Миус вспомню». Такое там было светопрествление, — Федосья Степановна кивнула на карту. — Вон ведь где немцы были. У самой Москвы.

Карта, заштрихованная на юге и западе красным карандашом, висела на стене, как память о пережитом. Все обратили к ней лица и минуты две находились в тихом раздумье.

— Да, положение было очень серьёзное, — негромко заговорил Виктор Николаевич, не сводя глаз с карты. — Внезапным был удар и неимоверным по силе. Растерялись вначале. Но выдержали и отразили. Не только свою землю очистили, но и Европу освободили. Партия! Без неё не добиться бы нам победы. Одна воля, одна душа с народом.

— Костя мой так же рассказывает: партия всему делу — го-

лова. Я, говорит, раньше не понимал,— что это за сила. А теперь убедился на факте. Любая, говорит, страна изошла бы кровью при таких потерях, любая держава. А мы встали, набрались духу да как пошли его гнать да как начали разить. И в хвост и в гриву! Он не знает куда и метнуться: то ли вправо, то ли влево. Вот ведь как было. Под Сталинградом, тут ему хребёт перешибли. А до того, ох, трудно нам было, шибко тошнѣхонько...

Галя глянула на отца. Он слушал Федосью Степановну, весь подавшись к ней, будто она рассказывала сейчас то, что он ещё не знал, но что давно жаждал знать.

— Сейчас я вам покажу одну вещичку,— вставая, сказал он и, порывшись в карманах шинели, висевшей в прихожей, принёс узенькую нарукавную повязку из белой поношенной ткани, сшитую, судя по размерам, для ребёнка. На повязке чёрными небрежными крестиками были крупно вышиты буква «Н» и пять цифр подряд — 94 779.

— Ну-ка, Дарья Осиповна, вы у нас человек бывалый, скажите, что это такое и для какой цели?

Орешкина растянула в руках сморщенную тряпку, потом, прихмурившись, взгляделась повнимательнее в вышивку и, вдруг догадавшись, с отвращением отшвырнула её от себя.

— Фашисты?

— Да.

— Вот дьяволы!

Теперь уж и остальные начали догадываться, что это такое. Эту повязку Виктор Николаевич взял для памяти в одном заводском посёлке на Украине. Там немцы, как только захватили посёлок, первым делом пронумеровали всех жителей. Каждый человек, даже ребёнок, был под номером.

С испугом, почти ужасом взирала Галя на эту обыкновенную с виду нарукавную повязку — повязку рабыни.

— И вот ещё,— Виктор Николаевич вынул из бумажника смятый конверт, испещрённый штампелями.— Это письмо я выпросил у одной женщины, когда освобождали Донбасс. Её дочь, только что кончившую десятилетку угнали в Германию. Пишет она оттуда вот что: «Мама! Я посылаю вам много писем, а ответа нет. Вот уже год, как из дому. Я не могу передать, как соскучилась. Мама, здесь хорошо, изумрудно-чистые города, но нет, я хочу в свой запылённый Донбасс, на свои грязные улицы, спать в своей постели, читать книги на своём родном языке. Мама, передай Вере: если мы будем опять вместе, то я никогда, никогда не буду с ней ссориться.

Здесь всё чужое, всё не по-нашему. Даже звёзды, и те чужие. Всё можно пережить, но когда конец? Когда, когда? До свиданья, мама. Иду спать на свой проклятый бет. *Калашникова Евдокия*. Девятого апреля сорок третьего года».

И опять все с болью и со страхом смотрели на этот документ чьей-то юной разбитой жизни, не смея взять его в руки.

— Ничего, вперёд будем умнее,— смрачным видом проговорила Орешкина, энергично потряхнув головой.— И всё опять восстановим. Ещё лучше, чем до войны, заживём. Верно ведь, Виктор Николаевич?

— Точно! — вырвалось у Гали.

Виктор Николаевич улыбнулся. Дочь, наконец, заговорила.

Беседа продолжалась ещё с час, всё о том же, что было пережито каждым за эти четыре года.

— Вон что, вон что,— раздумчиво приговаривала Федосья Степановна, слушая Виктора Николаевича, и, обращаясь к Наталье Ивановне, восклицала время от времени: — Да глядись ты, глядись на него! Наглядывайся, как на красное яичушко... Ну, к нам гуляйте,— сказала она, вставая.

К себе ушла и Орешкина.

— Я донором всю войну была. У меня кровь первой группы,— выкрикнула она уже из-за стенки.

Мимо окон с шумом и гвалтом промчалась ватага ребят. Раскинув за плечами, как парус, красный головной платок, летел впереди всех Эдик.

— Ура! Победа за нами! — кричал он восторженно.

Виктор Николаевич проводил их взглядом. Эту юную поросль он не знал совсем.

— А это что за молодой человек? — спросил он, увидев Диму Колосова, с сосредоточенным видом шагавшего по дорожке с книжкой в руках.

Галя засмеялась. Дима — молодой человек? Вот событие!

— Ну, а как у тебя с учёбой?

Галя рванулась к этажерке, где лежал её табель. Она давно ждала этого вопроса.

Отец проглядел строй пятёрок и четвёрок. В его больших руках жёлтый маленький табель дрожал, как осенний листок.

— А это что же?

Указав на верхнюю строчку, где особняком от всех отметок стояла тройка, он сказал с мягкой укоризной:

— Ай-я-яй! Троечка по русскому письменному... Как же так?

Мать взволновалась. Если бы он знал, как трудно склады-

валась жизнь. Галька была ей помощницей во всём, Галька очень старалась...

— Ну, теперь будет полегче. Выправишь положение, детка?

Галья чуть заметно качнула головой и отвернулась. Слёзы вдруг брызнули из глаз. Перед ужином мать ушла в кухню. Галья, совсем освоившись с отцом, рассказывала о том, как жилось без него в эти четыре года. Прошедшие события, ещё часа два назад казавшиеся ей недостойными отцовского внимания, стали значительными под его тёплым взглядом.

— Не пойти ли на кухню, детка? Маме одной, наверно, скучно.

Через минуту вся семья была за работой. Притащив дров, отец стал растапливать плиту. Орешкина, глядя, как он рьяно раздувает огонь, смеялась до слёз.

— Ну, Наталья Ивановна, теперь вы заживёте припеваючи: хозяин дома!

Галья, расставляя посуду на стол, болтала без умолку о школе, об уроках, обо всём на свете.

— Да помолчи ты, помолчи с минутку, — ласково оставлиwała её мать, суется возле чугуна с картошкой. — Дай папе вымолвить хоть слово.

— Это от избытка счастья, — сказал Виктор Николаевич, внезапно забрав жену и Галю в сильные руки, приподнял их обеих над полом.

В разгар суеты явилась розовощёкая, остроглазая девушка с почтовой сумкой.

— Вам два письмеца, одно с карточкой, — произнесла она тонким голоском.

— От Аси, ой! — Галья схватила оба письма и убежала в комнату.

«Посылаю тебе своё стихотворение о копилке, — писала Ася после рассказа о школьных делах. — Я сочинила его давно, потом оно куда-то затерялось. Вчера нашла и так захотелось поговорить с гобой:

Тусклая копилка,
Спутник жизни нашей,
Дрожащий огонёк!
Мы когда вернёмся
В наш любимый
Белый град,
Вспомним о тебе мы,
Нежно улыбнёмся,
И на лампу нашу
Упадёт наш взгляд.

Ну-ка, ярче вспыхни,
Ну-ка, светом брызни,
Звёздочкой живою
Обернись!

Образ прежней Аси, как в первый день встречи, встал перед Галей. Синие глаза, которые смеялись даже тогда, когда было грустно, и длинные русые косы на жёлтом, как подсолнух, пальто.

Второе письмо было из Рославля. Уже около двух лет шла переписка с Родионовыми. В письме была вложена семейная любительская фотография, не вполне отчётливая, но живая.

Под деревом на бревне сидел Леонид Петрович и, держа на коленях раскрытую книжку, что-то говорил маленькой черноволосой девочке с сачком в руке. Это, конечно, была Юлечка. Чуть улыбаясь, глядела она прямо на Галю и как будто про себя думала: «А я тебя знаю».

Позади, опершись на ствол дерева, стоял Саша в гимнастёрке. Левая рука его была забинтована. Рядом с ним вполоборота — какая-то молоденькая девушка в лёгком платье. Галя вгляделась в её лицо, затенённое листвою, и даже вскрикнула от изумления:

— Тётя Оля! Она, она! Папа, смотри!

Виктор Николаевич прежде всего впился в старика. Так вот он какой, Леонид Петрович! По рассказам дочери и жены Родионов представлялся Виктору Николаевичу гораздо старше. А Олю, действительно, не узнать. Ещё тоньше стала, совсем как девочка. Саша — ничего парень и видно, понюхал пороху. Ну, вот, растить Леониду Петровичу ещё внучат.

— А Сони нет, — тихо заметила Наталья Ивановна.

Солнце уходило с неба. Багрянец заката плавил верхние стёкла окон. Тёплый розовый свет заливал комнату.

— Всё ещё не верю. Знаю, что дома, и не верю, — говорил Виктор Николаевич, окидывая всё вокруг затуманенным взглядом. — И там, за границей, последние дни жил, как во сне. Меня уж ничто не трогало и не удивляло. Мчимся по асфальтовой дороге, повсюду крепкие дома под красной черепицей. Объяты пламенем. Ничего не жаль. Пусть горят...

— Ты, наверное, не узнал меня в первую минуту? — спросила Наталья Ивановна.

— Он Гальку не узнал, — со смехом отозвалась Орешкина из-за стенки. — А вас, как завидел, чуть с ног меня не сшиб.

Виктор Николаевич подошёл к этажерке дочери. На нижних полках всё лежало вперемежку — учебники и тетради

вместе с номерами довоенного «Пионера», альбомы со стихами и с коллекциями марок, из-под ящика с камнями высывался ремешок жёлтой сумочки.

Лишь на верхней полке был твёрдый порядок. Там на крошечном кукольном столе высилась стопка тёмных глянцевых кадров, а перед ним — грудка голубых бусинок, раковинка и жестяные сломанные часики.

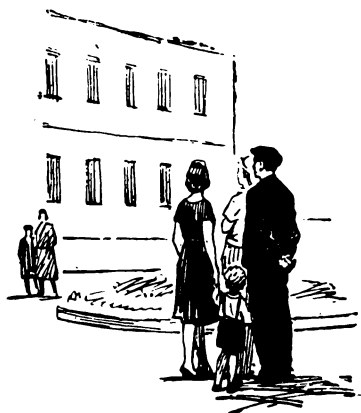
«Остатки детства», — с тёплой усмешкой подумал Виктор Николаевич, глядя на этот застывший в странном покое уголок, из которого уже навсегда ушла его властительница-кукла.

Галя повела отца во двор. Ей не терпелось показать, какой обширный огород на заднем дворе, и где их грядки.

Дрожа от вечерней прохлады, стояли тополя с ещё необлетевшей листвой. Старый навес калитки, над которым возвышалась в отдалении серая громада дома, хмуро горбился над входом. И среди травы, как четыре года назад, тускло поблескивала обросшая пожелтевшей травой каменная дорожка.

Но этот вечер был светел и спокоен. Мирно мерцали звёзды на чистом холодеющем небе. И лишь на западе, где синела гора туч, время от времени вспыхивал быстрый лёгкий огонь. Беззвучно шла где-то запоздалая гроза.

Галя прижалась к плечу отца. Ничего не желала она в эту минуту...



ОГЛАВЛЕНИЕ

Проводы	3
По-новому	7
Галя решила	11
В архиве	14
Девочка из Белгорода	19
Вдвоём	24
Тётя Оля из Ленинграда	28
Рабочий чемодан	33
Огорчения Гали	36
Старшие подружки	37
Вокруг одного огонька	42
Три вечера	45
Ночной грохот	48
Тайна, тайна!	50
Правительственная телеграмма	56
В поздний час	59
Чёрный дым	60
Удар	64
Первый суп	67
Опять вместе	71
Радостные вести	74
Дорогой	79
Последняя кукла	82
Отъезд	85
Ещё полтора года	89

Рождественская Клавдия Васильевна

В СТАРОМ ДОМЕ

Редактор *Л. Чумакова*, Художественный редактор *Ю. Сакнымь*,
Технический редактор *Э. Максимова*, Корректоры *А. Попова, Л. Копылова*.

Подписано в печать 8/II 1960 г. Уч.-изд. л. — 5,76. Бумага 60×84/18=3,125
бумажного—5,68 печатного листа + 4 вклейки. НС12020. Тираж 15 000. Заказ 465.
Цена 4 руб. 55 коп.

Типография издательства «Уральский рабочий», Свердловск, ул. Ленина, 49.

